

БИО
ГРАФИЯ

Олег Михайлов

Куприн

ФТМ

Олег Михайлов
Куприн

«ФТМ»

1981

Михайлов О. Н.

Куприн / О. Н. Михайлов — «ФТМ», 1981

Книга писателя и литературоведа Олега Михайлова (1932–2013) «Куприн» повествует о жизни великого русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1960), автора блестящих рассказов о жизни простых людей начала XX века. В историко-биографическом романе, основанном на огромном фактографическом материале, ярким и образным языком автор-исследователь рассказывает о жизни писателя, во многом нашедшей отражение в его известнейших произведениях «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок», «Яма». Книга входит в золотую серию «Жизнь замечательных людей», основанную М. Горьким.

© Михайлов О. Н., 1981

© ФТМ, 1981

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	23
Глава третья	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Олег Михайлов Куприн

«Возвращение Куприна в Советский Союз.

29 мая выехал из Парижа в Москву возвращающийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель – автор повестей «Молох», «Поединок», «Яма» и др. – Александр Иванович Куприн»

(ТАСС).

«Правда», 1937, 30 мая, № 148

Удивительная и трагическая судьба.

Раннее сиротство (отец, мелкий чиновник, умер, когда мальчику был год); непрерывное семнадцатилетнее затворничество во всякого рода казенных заведениях (московский сиротский дом, военная гимназия, кадетский корпус, юнкерское училище); затем, после нескольких лет унылой военной службы в провинции, выход в отставку, полуголодное существование человека без профессии; первые литературные удачи, стремительный взлет: слава, деньги, кутежи, безудержная трата сил и – в эмиграции, в далеком Париже – быстрое физическое угасание, нужда, жестокая и непрестанная тоска по России; наконец осуществившаяся мечта вернуться на Родину...

Глава первая У Чехова

1

Белый каменный домик в Аутке осаждали посетители.

Ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры – бог знает кто еще не приезжал сюда. На железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, целыми днями висли, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах.

– Антон Павлович занят и никого не принимает, – заметно заикаясь, объяснял полной даме Сергей Яковлевич Елпатьевский, беллетрист, гордившийся тем, что образование врача позволяло ему в Ялте следить за здоровьем Чехова. – Кроме того, он чувствует себя неважно...

Сухое покашливание прервало его тираду. Чехов, высокий, стройный, с усталым и добрым лицом, щурясь через пенсне, стоял у входа:

– Вы забыли, господа, что я тоже лекарь.

– Антон Павлович! – закричала дама неожиданным дискантом и легко отодвинула Елпатьевского с дороги. – Перед вами вдова акцизного чиновника, страстная почитательница вашего хмурого таланта! О, только поглядеть на вас, побеседовать с вами – какое это счастье! Я так люблю ваши сочинения...

– Какие же именно, смею спросить? – низковатым голосом проговорил он.

– «Каштанка»... – пролепетала она, порывисто дыша. – И еще... «Гуттаперчевый мальчик»... Как это? Да помогите же, господа!

Чехов снял пенсне и твердо сказал:

– Доктор Куприн прав. Вам надо немедленно ехать лечиться. На кумыс! В Башкирию! Сергей Яковлевич, проводите больную...

Чехов надел пенсне и захохотал – беззаботно, мальчишески:

– Нет, вы видели? И сколько таких поклонниц! Вы обратили внимание? У этой дамы такой вид, словно под корсажем у нее жабры!

Куприн усмехнулся, но тут же возразил армейской скороговоркой:

– По мне бы, Антон Павлович, нечего с ней рассусоливать. От ворот поворот. Без экзаменки... А то все вокруг только тем и заняты, что мешают вам работать. Право, заговор какой-то! Да еще я навязался на вашу голову...

– Ай-яй-яй! – Чехов улыбался добро и грозил пальцем. – Вы позабыли, что мы сегодня трудимся вместе.

Он пропустил Куприна и пошел с ним к дому маленьким садом, где только зацвели абрикосы и миндаль, – высокий, в мягкой черной шляпе и пальто, постукивая тросточкой.

– У меня вчера была чудесная встреча... На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, поручик. «Вы Антон Павлович Чехов?» – «Да, это я. Что вам угодно?» – «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» – и покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись...

Куприн слушал его и, морщась, ругал себя за то, что отнимает время у этого деликатнейшего из когда-либо встречавшихся ему людей. Посетители и гости донимали Чехова,

даже раздражали его, но он со всеми оставался ровен, терпеливо внимателен. Безотказная доброта Чехова доходила до той трогательной черты, которая уже граничила с безволием.

Он готов был повернуться и убежать. Как неудобно все выходит! Приехал с Буниным из Одессы в Ялту, остановился за Ауткой, нанял комнатуху в шумной и многочисленной греческой семье. И черт дернул пожаловаться Чехову, что в такой обстановке работать невозможно. И вот Чехов настоял, чтобы Куприн непременно приходил к нему с утра и занимался внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я наверху, – говорил Чехов со своей обезоруживающей, доброй улыбкой. – А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре...»

Куприн привык писать где-нибудь «на тычке», на кончике стола, среди шума и редакционной толкотни, а тут отдельная комната и полная тишина! Он приходил утром работать, а Чехов озабоченно спрашивал, сдвигая брови: «Может быть, перо не годится? Вы не стесняйтесь! Я по себе знаю – иногда из-за плохого, скрипучего пера вся работа идет черт знает как».

Здесь, в чеховском домике, Куприн писал рассказ «В цирке» – о могучем и добродушном борце Арбузове.

Работалось ему весело, но все же ухо было повернуто назад, к двери. И иногда он отчетливо слышал, как Чехов, проходя по коридору, вдруг начинал ступать как-то по-другому, осторожно, всей пяткой, чтобы не производить лишнего шума, или шикал на горничную Марфушу, когда она гремела посудой. Все это трогало Куприна...

– Пишете вы с завидной увлеченностью, – проговорил Чехов, входя с Куприным в большую прохладную столовую.

– Еще бы! – ответил Куприн. – Тема сама по себе не больно сложная – смерть борца после состязания, которое нельзя отменить. Профессиональный атлет, даже полуинтеллигент, должен состязаться с американцем Джоном Ребером. Он уже внес сто рублей на пари и афиши выпущены. Но с утра он чувствует озноб и лень во всем теле.

Видит на репетиции утром своего противника – тот тренируется – и ощущает страх. Вечером борется, побежден и умирает...

– Тут много психологии, – заметил Чехов.

– И какие подробности! Цирк днем во время репетиции и вечером во время представления, жаргон, обычаи, костюмы, описание борьбы, напряженных мускулов и цирковых поз, волнения толпы...

– Цирк вы знаете лучше, чем я, – сказал Чехов. – А вот по лекарскому делу я обязан преподать вам лекцию. – И прибавил требовательным баском: – В этих делах, сударь мой, надо, чтобы комар не мог носу подточить! Да и вообще примите во внимание, что читатель – человек строгий, его даже на крупницу опасно обмануть...

Отчего гибнет ваш герой, вы знаете? Ведь рассказ попадет и к медикам...

– Гипертрофия сердца... – смущенно сказал Куприн. – Болезнь грузчиков, кузнецов, матросов.

– Извольте снять пальто и подняться за мной в кабинет! – с шутливой строгостью приказал Чехов. – Мы решим сообща, на какие именно симптомы болезни вам надлежит обратить особое внимание... Выделить их так, чтобы ее характер не оставлял сомнений.

Кабинет у Чехова был небольшой, скромный. Прямо против входной двери большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем. В нише турецкий диван. С правой стороны коричневый кафельный камин с вечерним пейзажем Левитана. В самом углу дверь, сквозь которую видна спальня Чехова, веселая, светлая комната, сияющая девичьей чистотой. На стенах кабинета портреты Толстого, Григоровича,

Тургенева. На отдельном маленьком столике, на всеобразной подставке, множество фотографий артистов и писателей.

– Итак, садитесь на диван и внимайте. – Чехов снял пенсне и, как заправский лектор, принял важную позу: – Гипертрофия сердца... У людей, занимающихся усиленной мускульной работой, стенки сердца от постоянного и чрезмерного напряжения необыкновенно расширяются, и получается то, что мы в медицине называем «*cor bovinum*», то есть бычачье сердце...

Незаметно Чехов сам увлекся. От описания паралича сердца и предшествующих ему явлений он перешел к другим сердечным болезням: приводил грустные и смешные примеры из собственной практики, говорил о трудностях диагноза при сердечной недостаточности, о тонкостях лекарского искусства, которое достигается единственно опытом, наблюдениями... Куприн позабыл о том, что собирался записывать подробности. «Да, если бы Чехов не был таким замечательным писателем, – думал он, – он был бы прекрасным врачом...»

– Ваш атлет умирает после схватки с противником? – внезапно спросил Чехов.

– Возможно... Или скончается прямо на арене... После того как американский атлет припечатал его к тырсе...

– Тырса? Что это?

Куприн улыбнулся смущенно, стесняясь, что знает что-то, что неизвестно Чехову.

– Это смесь песка и деревянных опилок, которой посыпается арена... Впрочем, во время борьбы арену обычно застилают брезентом.

– Так вот! – Чехов, играя пенсне, расхаживал по кабинету. – Представим все в последовательности.

– По замыслу, – сказал Куприн, – накануне состязания атлет переживает сердечный приступ. Врач осматривает его и настоятельно рекомендует отложить состязание...

Чехов откликнулся, подчеркивая каждое слово взмахом пенсне:

– Бешеный пульс, холодные руки, расширенные зрачки. Однако отложить борьбу невозможно...

Он закашлялся и кашлял долго, сухо, прикрыв глаза рукой. Подошел к столу, отвернулся, сплюнул мокроту в баночку и вытер рот платком. Постоял немного. Лишь на мгновение по его лицу прошло облачко, и вновь оно сделалось добрым и приветливым.

– А сама смерть, – глуше, чем обычно, сказал он, – наступает после поражения, в цирковой уборной. Вместе с чувством тоски, потерей дыхания, тошнотой, слабостью... Куприн, соглашаясь, кивнул головой. Очень самолюбивый, он в разговорах с Чеховым не испытывал никакой ущемленности, спокойно сознавая его правоту и превосходство.

В кабинет неслышно вошла скромная, гладко причесанная женщина в простом холстиновом платье.

– Что, Ма-Па? – ласково сказал Чехов.

– Обедать, Антоша... – отвечала сестра, с нежностью глядя на него лучистыми – чеховскими – глазами.

Куприну еще никогда не доводилось видеть такой дружбы между братом и сестрой. Антон Павлович и Мария Павловна понимали друг друга с одного взгляда, легко читая все, что происходило в душе каждого. «У меня с сестрами, – подумал он невольно, – ни с Софьей, ни даже с любимой – Зиной – такой близости не было. Я их люблю обычной любовью. Но она не переходит в родство душ...»

Куприн знал, что Мария Павловна, не желая нарушать течение жизни Чехова, не вышла замуж, вообще отказавшись от личного счастья. Чехов был также убежден, что никогда не женится, до встречи с Ольгой Леонардовной Книппер, прекрасной артисткой Художественного театра. Но именно Мария Павловна, чутко ощутив зарождение увлеченности, полу-

шутя рекомендовала брату, побывав в третий раз на представлении «Чайки» и расхвалив игру актеров МХТ: «...советую поухаживать за Книппер. По-моему, она очень интересна...»

С появлением в его жизни Ольги Леонардовны Чехов все время ощущал вину перед сестрой и был по отношению к ней особенно внимателен и нежен.

– Обедать, обедать! – хлопнул он в ладоши. – И вы, господин убийца, только что отправивший на тот свет атлета! Немедля к столу!

Куприн покачал головой:

– Благодарю, Антон Павлович. С обедом меня ждет хозяйка...

Чехов, слегка откинув голову, внимательно посмотрел на помрачневшего гостя. Куприн сидел без гроша. Перед отъездом в Ялту он сдал несколько мелких рассказов в «Одесские новости». Гонорар запаздывал, и, конечно, обед у хозяйки был чистым вымыслом. Но, живя впроголодь, Куприн тем более стеснялся оставаться на гостеприимной даче в роли нахлебника.

– Ничего, – непреклонно сказал Чехов, – ваша хозяйка подождет. А пока за стол и без разговоров! Когда я был молодой и здоровый, то легко съедал два обеда. А вы, уверен, отлично справитесь и с тремя!

Поборов неловкость, Куприн спустился в столовую. Там царствовала мать Чехова – старенькая и мудрая Евгения Яковлевна, великая мастерица на всякие соленья и варенья. Угощать и кормить было ее любимым занятием. Гостей она принимала как настоящая старосветская помещица, с той только разницей, что делала все сама, своими искусными руками: ложилась позже всех и вставала всех раньше...

– А вот еще курничка, голубчик, положи себе... – говорила она Куприну с характерным южным придыханием на букву «г». – И ставридки горячей не забудь, не то остынет – свежая черноморская...

Чехов по обыкновению ел чрезвычайно мало. Вяло поковыряв в тарелке, он встал из-за стола и прохаживался от окна к двери и обратно. Заметив, что Куприн робко поглядывает на пузатый, потный от холодной влаги графинчик, Чехов остановился за его стулом:

– Послушайте, выпейте еще водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а за столом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

Куприн благодарно поглядел на него. Чудный дом, чудная семья! Он почувствовал себя легко, непринужденно, расправил плечи, так что мышцы буграми заходили под скромным пиджаком.

– А вы, господин писатель, наверняка сами занимались французской борьбой, – сказал Чехов. – А может быть, еще и боксом?

– Угадали, Антон Павлович, – блеснув узкими глазами в улыбке, отозвался Куприн. – И борьбой и боксом. Но попробуй об этом признаться в цивилизованном обществе! Борьбу как занимательное зрелище еще снисходительно допускают. Но на бокс смотрят как на зверское, недостойное цивилизованного человека явление, которое следует искоренять. – Он тронул свой мягкий, сломанный в боксе нос. – Не понимают, что бывают случаи, когда знание простейших приемов может оказать неоценимую услугу...

– Вот как? – удивилась Мария Павловна. – Например?

Воодушевленный общим вниманием, Куприн продолжал:

– После выхода в отставку я довольно долго жил в Киеве. Чем только не занимался, чего не перепробовал! Раз поздно вечером возвращаюсь домой. На улицах темно и морозно. И вот на одном из перекрестков из-за угла выскакивает рослый дядя и требует деньги, часы и пальто...

– Ах, боже ж ты мой! Деточка бедная! – не удержалась Евгения Яковлевна.

Чехов присел к столу, чтобы было удобнее слушать.

– Признаюсь, – рассказывал Куприн, – что в моем кошельке бренчало всего-навсего несколько серебряных монет и расстаться с ними не было жалко. Часы находились в закладе. Но своим единственным, хотя и сильно поношенным пальто с собачьим воротником я дорожил и, разумеется, расставаться с ним не собирался. Вы можете подумать, что я начал кричать и звать городского. Ну нет!! Через две секунды предприимчивый дядя лежал на земле и вопил благим матом. И только когда я убедился, что как следует «обработал противника», как говорят боксеры, и он уже более не боеспособен, я оставил его, сказав на прощание: «Теперь ты будешь знать, мерзавец, как отнимать у человека последнее пальто...»

Чехов, зорко, весело глядя на Куприна, сказал:

– Сейчас я хорошо понимаю, отчего вас так тянет к циркачам, акробатам, борцам.

– Человек должен развивать все свои физические способности! – нагнув голову, упрямо проговорил Куприн. – Нельзя относиться беззаботно к своему телу. А наши литераторы – на кого они похожи! Редко встретишь среди них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство сутулы или кривобоки, при ходьбе вихляются всем туловищем, загибают ногами или волочат их – смотреть противно...

– Это уже в вас говорит строевик, офицер, – откровенно любуясь Куприным, добавил Чехов. – Военная косточка – чудесное начало...

– А мне так часто колют глаза, как чем-то постыдным, моим офицерским прошлым, – возбужденно откликнулся Куприн. – И кто? Эти слабые духом и немощные телом монстры! Вы заметили, Антон Павлович, что почти все они носят пенсне, которое часто сваливается с их носа? Я уверен, что в интимные минуты они роняют пенсне на грудь любимой женщины...

Он осекся, внезапно вспотев. Чехов хохотал беззвучно, падая головой на колени. Мария Павловна деликатно вышла из комнаты.

Не сразу успокоившись, Чехов наконец ответил, сдерживая рыдания смеха:

– Вы совершенно правы, Александр Иванович. Пенсне – штука безобразная... Но те, кого угораздило носить пенсне, уверяю вас, в интимные минуты им не пользуются.

Евгения Яковлевна, мало улавливая суть происходящего и думая о своем, с тоской в голосе произнесла:

– Антоша! Ты опять ничего не ел!

Чехов поднялся, с немой улыбкой подошел к матери и, взяв ее вилку и ножик, начал мелко-мелко резать ей мясо.

– Ты нас угостишь с Александром Ивановичем чаем... На террасе, – с ласковой серьезностью сказал он.

Куприн все еще не мог прийти в себя от глупой оплошности. «Офицер! Деревяшка! – повторял он. – И надо же было такое ляпнуть!»

– А вы не знаете, куда запропастился Бунин? – отвлекая его от самоистязания, спросил Чехов. – Второй день не кажет глаз...

Бунин все еще жестоко страдал и от недавнего разрыва с женой, красавицей гречанкой Анной Николаевной Цакни, и от невозможности видеть маленького сына. Он таил боль глубоко в себе, шутил, балагурил, до слез смешил Евгению Яковлевну, Марию Павловну, самого Чехова...

Сбивая затянувшуюся паузу, Куприн сказал:

– Сидит по утрам в кофейне Берне.

– Удобное место для молодого человека! – нарочито ворчливо ответил Чехов, пряча грусть за стеклами пенсне. – Устроился за столиком на набережной возле купальни. Смотрит на купальщиц – как вздуваются в воде их рубашки.

«Никогда от шуток Чехова, – подумалось Куприну, – не остается заноз в сердце... Так же, как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек сознательно не причинил ни малейшего страдания ничему живущему!..»

После чая они сидели с Чеховым в саду на лавочке, следя, как клонится солнце к вершине Яйлы.

Перед хозяином преданно вертелись две собаки – Тузик и Каштан, названный так в честь исторической Каштанки. Каштан был толст, гладок, неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он сперва залаял на Куприна, но стоило тому поманить его и почмокать, как Каштан доверчиво перевернулся на спину, извиваясь по земле. Чехов легонько отстранил его палкой и с притворной суровостью проговорил:

– Уйди же, уйди, дурак... Не приставай...

И прибавил, обращаясь к Куприну, с досадой, но со смеющимися глазами:

– Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

И здесь Чехов был сдержан, скрывая нежность к собаке. Но Куприн слышал, что, когда Каштан по свойственной ему неповоротливости попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу, Чехов нежно, ловко и осторожно промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал йодоформом и перевязал марлевым бинтом. «Ах ты, глупый, глупый... – ласково приговаривал он. – Ну как тебя угораздило?... Да тише ты... легче будет... дурачок...»

– Удивительно трогательна эта робкая доверчивость животных, – сказал Куприн.

– Как и детей, – тихо добавил Чехов.

Животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову, искали его дружбы.

– И страшно, когда беззащитные существа страдают от грубости, жестокости, бездуховности... – Куприн поглядел сбоку на Чехова; у того стекла пенсне от заходящего солнца казались розовыми. – Как ужасен был для меня в раннем детстве переход от семьи к казарме сиротского училища, а потом кадетского корпуса! Бывало, вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день, еще крепишься кое-как, хотя сердце нет-нет и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение... Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, о какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами... И знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя...

Чехов молчал, водя тростью по песку. Затем просто сказал:

– Знаете, у меня в детстве не было детства.

И сразу собственные слова показались Куприну выпенными, излишне чувствительными. Но как еще передать тоску детской души по матери, по ее теплу? Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку!..

– Сейчас мы должны вернуть детям то, чего недополучили сами, – проговорил Куприн и снова почувствовал, что не в силах выразить свою мысль так просто и глубоко, как Чехов.

– Должны, должны... – рассеянно отвечал тот, поднимаясь со скамейки, так как Мария Павловна знаками подзывала его. – Верно, должны каждой мелочью украшать и отношения между людьми, и саму землю... Послушайте, – остановился он перед Куприным, – при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? – прибавил он вдруг с серьезным лицом. – Знаете ли, через триста-четырееста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна...

«Нет, это не заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это и не жадное любопытство к тому, что будет после меня, не завистливая ревность к далеким поколениям, — размышлял Куприн, оставшись один на скамейке. — Это тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, страдающей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости — от всего ужаса и темноты современных будней...»

Голос Чехова, чуть насмешливый, словно таящий легкую иронию к собственным недавним словам, вывел Куприна из задумчивости:

— Ну, отважный боксер! Теперь ваша очередь повторить подвиг Елпатьевского. В мою калитку снова рвется вдова акцизного чиновника из Чебоксар!

2

— Его сиятельство маркиз Букишон! — торжественно провозгласил Чехов, входя в соседнюю со столовой комнатку, в которой работал Куприн.

Он стал называть Бунина так потому, что в какой-то газете увидел портрет какого-то маркиза, который был на него похож.

— Знакомьтесь: французский депутат и маркиз...

— Здравствуй, Иван, — поднялся навстречу Бунину Куприн.

И в тридцать лет Бунин был юношески красив, свеж лицом, правильные черты которого, синие глаза, остроугольная русо-каштановая голова и такая же эспаньолка выделяли его, обращали на себя внимание.

— Христос воскрес, Саша! — Бунин поцеловал Куприна.

Бог ты мой! Да сегодня же святое воскресенье! Пасха! За работой Куприн совершенно позабыл об этом... И сразу вспомнился Второй Московский кадетский корпус, маленький седенький священник отец Михаил, трогательно похожий на Николая Угодника, и то, что сам Куприн пять лет пел в корпусном церковном хоре вторым тенором...

— Воистину воскрес! — взволнованно ответил он.

— Господин маркиз напрасно притворяется православным и даже христосуется, — сказал ворчливо Чехов. — На самом деле он рьяный католик. И знаете, кто разоблачил его? Наша просвещенная Варвара Константиновна.

Начальница Ялтинской женской гимназии Варвара Константиновна Харкевич была обожательницей писателей, собирала о них все, что только было можно — рецензии в периодике, открытки, пародии, шаржи, — и восторженно читала наизусть их произведения целыми страницами.

— Антон Павлович! Говоря так, вы не совсем ошиблись, — отозвался Бунин характерным южнорусским говором с мягким «г» (совсем таким же, как у Евгении Яковлевны, подумал Куприн). — По преданию, наш род основал муж знатный Симеон Бунковский, который выехал из Польши на служение к великому князю Василию Васильевичу... Он-то, верно, был католиком...

— Вы же дворянин, последний из книги «Сто русских литераторов»... — не без легкого лукавства сказал Чехов и добавил тверже, серьезнее: — А я мещанин и горжусь этим!..

Он обратился к Куприну:

— Как ваш рассказ?

— Перечитал дважды и ставлю точку.

«...В его мозгу резким, высоким звуком — точно лопнула тонкая струна — кто-то явственно и раздельно крикнул: бу-ме-ранг! Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее...» — пробежал глазами Куприн последние строки.

– Тогда оставим мрачные материи и направимся немедленно на набережную... – Чехов положил на плечо Куприна сухую сильную руку.

Вся ялтинская набережная была заполнена празднично одетым народом. Раскланиваясь со знакомыми, Чехов ни разу не последовал массовому примеру ялтинских обывателей, приветствовавших друг друга шумными пасхальными возгласами и поцелуями. Куприн слышал, что еще истово богомольный отец Чехова, бессменный церковный староста одной из таганрогских церквей, своим аскетизмом и суровой фанатичностью подавил в мальчишке религиозные чувства.

В сквере Чехов указал на уединенную скамейку, глядящую на море.

– Ну что, молодые люди, – шутливо сказал он, присаживаясь. – Может быть, подбросите старику какой-нибудь сюжетец или хотя бы красочную деталь? А то я пишу все меньше и меньше...

– Все-таки я вам уже пригодился, – в тон ему отозвался Бунин. – Вспомните, Антон Павлович, начало вашей повести «В овраге».

– Да, господин маркиз! Это вы рассказали мне, как сельский дьячок до крупинки съел два фунта зернистой икры. Где это было?

– На именинах моего отца, – улыбнулся Бунин. – Ел, коченея от наслаждения, как его ни пытались от икры оторвать!

Чехов принялся хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

– Вы замечательно подмечаете художественные подробности, – чуть шепелявя, сказал он и вдруг прибавил: – Только вот вам мой совет – перестаньте быть дилетантом, сделайте хоть немного мастеровым. Это очень скверно – писать так, как должен был я из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновения...

Куприн слушал их, втайне завидуя тому, как легко, непринужденно держится с Чеховым Бунин, почти как с равным. «Как они близки, – подумал он. – У меня так никогда не получится!»

После недолгого молчания Бунин спросил у Чехова:

– Любите вы море?

Море, серо-лиловое, зеркальное, поднималось перед ними очень высоко.

– Да, – ответил тот. – Только уж очень пустынно.

– Это и хорошо, – сказал Бунин.

– Не знаю. – Чехов глядел куда-то сквозь стекла пенсне и, очевидно, думал о чем-то своем. – По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере помолчав, без видимой связи прибавил:

– Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря я читал недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое».

«Да, Бунин, конечно, близок Чехову, – сказал себе Куприн. – И очень ему далек. Как он любит одиночеством, надменной отчужденностью! Эх, Иван, Иван! Больно уж ценишь ты красивые переживания. Эстет... А по мне, так нет ничего дороже, чем густой мед обыденной жизни, чем эта толпа на набережной и разношерстный народ на пристани – русские, украинцы, молдаване, греки, евреи, татары...»

Он уже не раз ощущал, что Бунин, близкий товарищ, талантливый художник, прекрасный поэт, порою раздражает и даже злит его.

– А не отправиться ли нам в греческий ресторанчик? – нарочито бодро предложил Куприн. – К доброму пьянице Кастаки... У него божественная кефаль и прекрасное белое вино...

«Одесские новости» наконец откликнулись, одарив Куприна небольшой суммой, и он самолюбиво желал угостить Чехова и Бунина «на свои».

– Нет, молодые люди. – Чехов поднялся. – Вы обязательно отправляйтесь в ресторан. А мне пора домой. Стетоскоп строгого Елпатьевского уже ждет меня...

Его высокая фигура еще долго виднелась в толпе на набережной.

– Знаешь, Саша, – сказал Бунин. – К черту ресторан! Давай лучше возьмем у проводника лошадей и закатимся в горы. На Уч-Кош, выше водопада.

– А ты справишься с лошадьё? – насмешливо проговорил Куприн. – Я в Проскурове в ресторан въехал верхом на второй этаж. Не оставляя седла, выпил рюмку коньяку и спустился вниз по лестнице. Заметь: все это на старой одноглазой бракованной кобыле. Цирковой трюк высшего класса!

Бунин холодно ответил:

– Лошадей я знаю не хуже тебя.

– Ты? – Куприн захохотал. – Ведь ты шпак! Штатская штафирка!

У Бунина лицо пошло пятнами:

– Мой отец был лучшим лошадником в округе и посадил меня в седло, когда мне было пять лет!

– Ну прости, прости... – Куприн понял, что не шутя задел приятеля. – Извини меня! Вася! Ричард! Это же не я, это моя злая кровь князей Кулунчаковых бродит во мне!

– Изволь! – Бунин резко встал. – Тогда пошли искать проводника.

...С Ялтинского шоссе они свернули на тропинку, узкую и крутую. Маленькие шерстистые лошадки бежали споро, привычно. Куприн с небрежной офицерской ловкостью ехал за проводником. Внезапно Бунин, слегка задев его крупом лошади, обогнал и помчался с гиканьем по тропе. Мелкие камешки с шорохом сыпались вниз, туда, где в бездне расстиралось солнечное поле воды. Куприн, отчаянно понукая свою лошаденку, поспешил за ним.

– Урус! Шайтан урус! – обалдело кричал оставшийся где-то внизу проводник.

Тропинка пропала в облаке, мгновенно стало очень сыро. Куприн, доверясь чутью татарской лошадки, гнал и гнал ее вверх.

Он настиг Бунина на узенькой площадке среди скал, когда туман остался под ногами.

– Ты что? – крикнул он, перехватывая повод. – Совсем спятил?

– Посмотри, Саша, – как ни в чем не бывало мечтательно сказал Бунин. – Вот сюда, на провалы в облаках, там какая-то дивная неземная страна... А скалы? Они известково-серые... Как птичий помет...

– Издеваешься надо мной? – зарычал Куприн, совсем по-звериному шуря маленькие глаза. – Ты чудовищно честолюбив! Согласен, убедил – ты отлично едешь верхом. Доволен?

– Я не честолюбив, я самолюбив, – ответил Бунин.

– А я? – быстро остывая, спросил Куприн. И на минуту задумался, сощутив по своему обыкновению глаза и пристально вглядываясь во что-то вдаль. Потом зачастил: – Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие даже не имею права. Я и писателем стал случайно. Долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказами, ты же лучше других знаешь! Вот и вся моя история...

Появился проводник, бормоча ругательства. Бунин ласково сказал ему:

– Как тут красиво! Море! Верст на пятьдесят, на сто вперед!

Тот от негодования только почмокал, а затем все-таки отозвался:

– Эх, барина, как мне все это надоел! Каждый день видим...

Спускались молча, медленно, не обращая внимания на причитания проводника. Куприн жадно вдыхал горячий южный воздух, остро чувствуя все оттенки запахов и ароматов: нагретого камня, молодого зверобоя, расцветающего миндаля.

– А ведь аппетит разыгрался, и страшный, – примиренно сказал он Бунину.

– Навестим дражайшую Варвару Константиновну? – ответил тот. – Она-то ублажит нас по первому классу!

– Еще бы! – Куприн по-мальчишески присвистнул и с лихостью кадета выполнил «ножницы» – гимнастическим движением ног перекинул тело, сев лицом к хвосту, а затем бросил себя назад. – У Харкевич сегодня открытый пасхальный стол!..

Хозяйки дома не оказалось, но ее муж, маленький веселый толстяк, взмолился:

– Варвара Константиновна делает пасхальные визиты и никогда не простит мне, если вы не отведаете всего, что приготовлено...

Он провел гостей, которые отказывались только для вида, в большую столовую, а затем лишь наблюдал с возрастающим изумлением, как стремительно исчезали с тарелок закуски, горячие блюда, как пустели бутылки. На прощание Куприн предложил:

– Надо написать и оставить Варваре Константиновне стихи.

И они с Буниным, хохоча, перебивая друг друга, стали сочинять строчка за строчкой шутливое послание, записывая прямо на скатерти:

В столовой у Варвары Константиновны
Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки –
И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил...

Когда они вышли из дома Харкевич, было уже совсем темно – по-южному, тепло, тихо, с ясным месяцем и редкими лучистыми звездами в глубоком небе. Крымский вечер навевал Куприну настроение умиротворенности и покоя. Море ласково, с влажным шелестом лизало берег.

– Как мучительно больно, как непонятно – до дрожи, до сумасшествия, – вдруг сказал, останавливаясь, Бунин, – знать, что тот человек, о котором ты каждый день, каждый час думаешь, мучаешься, страдаешь, даже не вспомнит тебя. Отрезала, разлюбила и позабыла! Как это может только женщина...

И почти без паузы тихо начал читать:

За все тебя, господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.

Я одинок и ныне – как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нем Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.

И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознание,
Что я один в безмолвном созерцании,
Что всем я чужд и говорю – с тобой...

«Вот ты где настоящий... – подумал Куприн, проникаясь состраданием и нежностью к Бунину. – Не тогда, когда ты балаганил за столом у Харкевич, а тут, сейчас...»

– Милый, – сказал он в темноте. – Милый ты мой! Вася! Альберт! Я бывший офицер, грубиян. Но как я чувствую тебя, твою душу!..

Они расцеловались и разошлись: Куприн пошел в бедный дом рыбака-грека, Бунин – в дешевую ялтинскую гостиницу. Но оба не могли уснуть.

Куприн уже разделся и лег под влажную простыню. За тонкой стенкой шумели, возились полдюжины чумазных и курчавых детишек хозяина. Куприн думал о Бунине, о его судьбе, о Чехове, которого уже не просто любил, а боготворил. Беспокойное волнение разгоралось в нем. Он накинул простыню и вышел на скрипучую терраску.

Была уже полная крымская ночь – черная, по-весеннему прохладная. Куприн искал во мраке, в нагромождении смутно белеющих аутских домиков чеховский своими рысьи-зоркими глазами, и ему показалось, что он видит его, видит в оконце кабинета свет.

Мозг пытался найти точное выражение тому, что Куприн пережил за эти две недели в Ялте, в каждодневных встречах с Чеховым. Получалось очень громоздко и опять высокопарно. Но если бы он мог сжать все эти мысли до одной фразы, то скорее всего появились бы те самые слова, которые много позднее записал Бунин:

«У Чехова все время росла душа...»

3

Чехов – Куприну.

22 января 1902 года, Ялта.

«Дорогой Александр Иванович, сим извещаю Вас, что Вашу повесть «В цирке» читал Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему Вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ. и в заглавии подчеркните рассказы, которые Вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а уж я передам ему.

Рассказ для «Журнала д(ля) в(сех)» пришлю, дайте только «очухаться» от болезни.

Ну-с, будьте здоровы, желаю Вам всего хорошего...

Ваш А. Чехов».

Отступление первое

Художник

1

Натура, одаренная от природы по-русски щедро, широко, с размахом, писатель милостью божьей, Куприн поражал современников возможностями своего таланта. «Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать – «большой талантливости»», – поправлял себя пристрастный к собственному поколению Бунин, вспоминая о Куприне, о трудности его жизненного пути, о неравноценности написанного им, о многом разном, великом и малом, что соединилось в личности писателя.

Куприн родился 26 августа (7 сентября) 1870 года в захолустном городке Наровчате Пензенской губернии. Отца своего, мелкого чиновника, умершего от холеры, когда мальчику шел второй год, он совсем не помнил. В 1874 году Куприн переезжает с матерью в Москву

и поселяется в общей палате вдовьего дома на Кудринской площади. Так начинается для будущего писателя долгая полоса непрерывного заточения во всякого рода казенных заведениях.

Во вдовьем доме (описанном впоследствии в рассказе «Святая ложь») он по крайней мере не был оторван от матери. Вообще для детства Куприна и формирования его личности немалое значение имело то обстоятельство, что в глазах ребенка место «верховного существа» безраздельно заняла мать.

Судя по свидетельствам современников, Любовь Алексеевна Куприна, урожденная княжна Кулунчакова, «обладала сильным, непреклонным характером и высоким благородством» (Кончина матери А. И. Куприна. – «Русское слово», 1910, № 135, 15 (28) июня). Это была женщина энергичная, волевая (чего только ей стоило после смерти мужа воспитать почти без средств к существованию троих детей) и даже с оттенком деспотизма в характере. Авторитет Любви Алексеевны оставался непоколебимым в течение всей ее долгой жизни. Она была натурой незаурядной, обладавшей, по словам Куприна, редким «инстинктивным вкусом» и тонкой наблюдательностью. «Расскажешь ли, или прочтешь ей что-нибудь, – вспоминал Куприн, – она непременно выскажет свое мнение в метком, сильном, характерном слове. Откуда только брала она такие слова? Сколько раз я обкрадывал ее, вставляя в свои рассказы ее слова и выражения...» И у шестидесятилетнего Куприна образ матери вызывает совершенно детски-восторженные признания. В своем автобиографическом романе «Юнкера» он не называет мать Александрову иначе, как «обожаемая». Мечтательный и одновременно вспыльчивый, нежный и упорный до упрямства мальчик оказался обязанным матери многими чертами своего характера.

В 1876 году из-за тяжелого материального положения Любовь Алексеевна была вынуждена отдать сына в Александровское малолетнее сиротское училище. Саша надел первую в своей жизни форму – «парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой». Казенная обстановка, злобные старые девы-воспитательницы, наконец, сверстники, которые «были с самого первоначала исковерканы», – все это причиняло мальчику страдания и вызывало в нем протест.

Однако жизнь в сиротском пансионе могла показаться еще терпимой в сравнении с гнетущим бытом кадетского корпуса, куда поступил Куприн. В 1880 году он сдал вступительные экзамены во Вторую Московскую военную гимназию, которая два года спустя была преобразована в кадетский корпус. И снова форма: «черная суконная курточка, без пояса, с синими погонами, восемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на воротнике». Поистине детство Куприна было насильственно затянuto в казенную форму. В повести «На переломе» («Кадеты») Куприн подробно запечатлел калечащие детскую душу нравы «бесшабашной республики», тупость начальства, «всеобщий культ кулака», отдававший более слабого на растерзание более сильному, наконец, отчаянную тоску по семье и дому.

Десятилетний мальчик столкнулся в эту пору с несправедливостью, возведенной в закон. В его сознании нормы честности и благородства, поддерживаемые в семье материнским авторитетом, приходят в резкое несоответствие с царившим в гимназии правом сильного, с нелепой казарменной воспитательной системой. Болезненную травму оставила в душе мальчика публичная порка (описанная в «Кадетах»), которой подвергло его гимназическое начальство, имея в виду цели «педагогические». Уже на закате своих дней Куприн прокомментировал этот эпизод: «Булавин – это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь...» («Москва родная»).

Третье Александровское юнкерское училище в Москве, куда Куприн поступил в сентябре 1888 года, приняло в свои стены уже не «невзрачного, маленького, неуклюжего кадетика» (Воспоминания однокашника, Л. А. Лимонтова), а крепкого юношу, ловкого гимнаста,

юнкера, без меры дорожающего честью своего мундира, неустойчивого танцора, пылко влюбляющегося в каждую хорошенькую партнершу по вальсу. Разве что «бешеная кровь татарских князей, неустойчивых и неукротимых его предков с материнской стороны» («Юнкера»), толкавшая на резкие и необдуманные поступки, выделяла его среди дюжинных юнкеров. Но впечатление это лишь внешнее. Молодой Куприн, бессознательно приспособившись к окружению, вобрал в себя «типические» черты военной среды во имя спасения и сохранения своей индивидуальности, того «купринского», что проявилось в его первых художественных опытах – стихах и прозе.

Иными словами, детские и юные годы Куприна в известной мере дают материал для отыскания истоков его характерных особенностей как художника. Воспевание героического, мужественного начала, естественной и грубовато-здоровой жизни сочетается в купринском творчестве, как мы увидим, с обостренной чуткостью к чужому страданию, с пристальным вниманием к слабому, «маленькому человеку», задыхающемуся в оскорбительно-чужой и враждебной ему среде. Вот эта вторая плодотворнейшая стихия Куприна-художника восходит к впечатлениям маленького Саши, полученным в кадетском корпусе. Речь идет не только о произведениях с явным автобиографическим уклоном. Нужно было ребенком пройти через ужасы военной бурсы, пережить унижительную экзекуцию, чтобы так болезненно остро ощутить, скажем, безысходную драму жалкого, забитого солдата Хлебникова («Поединок») или мучения татарина Байгузина («Дознание»), истязуемого на батальонном плацу.

Несмотря на мрачность быта кадетского корпуса, именно там зародилась настоящая, глубокая любовь Куприна к литературе. Среди бездарных или опустившихся казенных педагогов счастливым исключением оказался литератор Цуханов и даже сам Александр III («Недоразумение»). Откликом на готовившуюся расправу над А. И. Ульяновым и четырьмя его товарищами-народовольцами, обвиненными в подготовке покушения на царя, явилось стихотворение «Сны» (14 апреля 1887 года), в котором семнадцатилетний Куприн заклеил «гнусное», страшное дело» царского суда:

Вдруг смолкла вся площадь, и жутко молчанье...
Послышался детский отрывистый плач,
И снова все стихло. Один в ожиданье
По доскам помоста шагает палач...

Уже будучи в юнкерском училище, Куприн впервые выступил в печати. Познакомившись с бывшим «искровцем» поэтом Л. Пальминым, он опубликовал в журнале «Русский сатирический листок» рассказ «Последний дебют». Сладкий яд авторства, особенный запах типографской краски новенького номера журнала, наконец, дисциплинарное взыскание за выступление в печати – все это запомнилось навсегда, воплотилось позднее в отдельный рассказ. Сам же рассказ не обличал сколько-нибудь таланта в его авторе, таким дешевым мелодраматизмом был он перенасыщен, так трафаретны были его персонажи. Первый выход в литературу оказался неудачным, не имел серьезного значения в творческой биографии Куприна. И когда, окончив 10 августа 1890 года «по первому разряду» Александровское училище, свежее испеченный подпоручик отправился в 46-й пехотный Днепровский полк, квартировавший в городишке Проскурове Подольской губернии, он и сам не относился сколько-нибудь серьезно к своему «писательству».

Четырехлетняя служба едва ли не впервые столкнула Куприна с тяготами обыденной жизни, от которой он был все это время отгорожен стенами военных учебных заведений. Куприн оказался «в невероятной глуши, в одном из пограничных юго-западных городков. Вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанные из глины и навоза...» («К славе»). Показная нарядная сторона военной жизни обернулась своим исподом: утомительно одно-

образными занятиями ружейными приемами и «словесностью» с ошалевшими от муштры солдатами; попойками в офицерском клубе да пошлыми интрижками с полковыми «мессалинами».

Однако именно эти годы дали возможность Куприну досконально изучить провинциальный военный быт, а также познакомиться и с нищей жизнью еврейского местечка, и с бытом полесского села, и с нравами провинциальной интеллигенции. «Дознание», «Ночлег», «Ночная смена», «Поединок», «Свадьба», «Славянская душа», «Ужас», «К славе», «Миллионер», «Жидовка», «Трус», «Телеграфист», «Неизъяснимое» и т. д. – материал для этих произведений он почерпнул именно в годы своей офицерской службы. В 1893 году подпоручик Куприн заканчивает повесть «Впотьмах» и рассказ «Лунной ночью». Все чаще и чаще задумывается он над тем, как ему следует жить дальше. Вот так же «взрослеет» в «Поединке» подпоручик Ромашов, еще недавно мечтавший о военной славе, но после напряженных раздумий о бессмысленной армейской муштре, дикости провинциального офицерского существования решающий выйти в отставку.

Прошение об отставке Куприн подает в конце 1893 года и в августе следующего оказывается в Киеве. К этому времени популярный народнический журнал Михайловского и Короленко «Русское богатство» напечатал его повесть «Впотьмах» и рассказ «Лунной ночью». В Киеве Куприн много печатается, пишет рассказы, очерки, заметки в местных и провинциальных газетах и рассказов – «Миниатюры».

2

Первое, что бросается в глаза, когда знакомишься с куприновскими произведениями 90-х годов, это их неравноценность. Рядом с неприхотливыми и как раз поражающими неприхотливостью своей правды даже не рассказами в собственном смысле слова, а эскизами, очерками, набросками, в которых ощущаются подлинные, еще не остывшие жизненные впечатления («Дознание», 1894; «Ночлег», 1895; очерки из сборника «Киевские типы», 1895–1896 и т. д.), мы находим многочисленные вещи, где резко заметно тяготение к штампам, традиционной мелодраме.

Пестрота и неравноценность ранней прозы Куприна объяснимы его слабой общей культурой и недостаточным знанием жизни. В Киеве Куприн оказывается, по собственным словам, «в положении институтки-смолянки, которую ни с того ни с сего завели бы ночью в дебри Олонецких лесов и оставили бы без одежды, пищи и компаса. Вдобавок, – замечает он, – самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских». (Автобиография А. И. Куприна. – «Огонек», 1913, № 20). Попад в большой незнакомый город, он был вынужден перепробовать все роли на нижних этажах социального здания. О тех опасностях, какие подстерегали талант молодого Куприна, проницательно отозвался много позже Бунин: «... выйдя из полка и кормясь потом действительно самыми разнообразными трудами, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и «рассказишками». Он мне говорил, что эти «рассказишки» он сбывал «за сущие гроши, разумеется, но очень легко», а писал и того легче, «на бегу, на лету, посвистывая» – и ловко попадая по своей талантливости во вкус редактору и читателям».

Примеров «потрафления» вкусам публики у молодого Куприна, к сожалению, немало. Это прежде всего рассказы, где изображаются «р-р-оковые» страсти, где мелодрама принудительно делит героев на воплощение благородства и злодейства. Таково уже упоминавшееся первое печатное произведение Куприна «Последний дебют». Ту же «душещипательную» традицию продолжают некоторые рассказы 90-х годов («Впотьмах», 1893, «Лунной ночью», 1893, «Станный случай», 1896 и т. д.). Пройдет немного времени, и в очерке «По заказу» (1901) Куприн резко высмеет собственные литературные штампы.

О своих ранних произведениях Куприн отзывался сурово. «Да поймите же, – объяснял он корреспонденту газеты «Крымский курьер», – что это первые ребяческие шаги на литературной дороге». Преодолению литературщины, заемных мелодраматических трафаретов и расхожих описаний способствовало подлинное познание жизни. Молодому писателю приходилось всюду наверстывать упущенное за годы скудной юности. В его автобиографии приведен пестрый список тех профессий, какие он перепробовал, расставшись с военным мундиром: был репортером, управляющим при постройке дома, разводил табак «махорку-серебрянку» в Волынской губернии, служил в технической конторе, был псаломщиком, выступал на сцене, изучал зубоврачебное дело, пробовал постричься в монахи, работал в кузнице и в столярной мастерской при сталелитейном заводе в Волынцеве, служил в артели по переноске мебели фирмы некоего Лоскутова, работал по разгрузке арбузов и т. д.

В этом списке первым стоит: репортер. И это не случайно. Репортерская работа в киевских газетах – судебная и полицейская хроника, писание фельетонов, передовиц и даже «корреспонденции из Парижа» – была главной литературной школой Куприна. К амплу репортера он сохранил навсегда теплое отношение. В 1918 году в петроградской газете «Вечерние огни» Куприн так охарактеризовал репортерскую работу: «Публика еще продолжает думать, что репортер – пожарный строчила либо происшественик... Между тем репортер, как и беллетрист, должен «видеть все, знать все, уметь все и писать обо всем». Границы между репортажем и художественным творчеством условны. Художник часто становится репортером, а репортер поднимается до уровня художника». В этой пусть завышенной оценке чернорабочего от журналистики, в этом сведении качественного различия между художником и газетным ремесленником к различию количественному ощущается отголосок собственного, «купринского» пути в «большую» литературу.

От природы у Куприна было умение видеть, поразительная наблюдательность и память.

Сохранился рассказ некой дамы-писательницы, которая в ранней молодости встретила на каком-то общественном балу с неизвестным пехотным офицером Куприным. Прошло лет двадцать, и вот уже в Петербурге писатель, увидев ее, подошел, назвал по имени-отчеству и напомнил об их знакомстве. Она удивилась: «Неужели вы меня узнали?» Куприн засмеялся и подробно описал, какое платье было на ней в тот вечер, двадцать лет тому назад. «Цвет, фасон, все решительно, совершенно точно, уж ведь мы-то, женщины, наши платья помним!», изумленно рассказывала она.

Стоит ли поэтому удивляться, с какими поразительными подробностями запечатлены в маленьких рассказах Куприна пехотные офицеры, «ундеры», рядовые, артисты цирка, босяки, квартирные хозяйки, студенты-белоподкладочники, певчие, лжесвидетели, воры. Какое обилие типов, очерченных резко и характерно, предстает в военных рассказах, какая пестрая людская ярмарка разворачивается в «Киевских типах»! Военные типы обрисованы писателем так, что подчеркнута их распространенность; в забитом, «бледном, грязном» татарине Камафутдинове, «посмешище всей роты, ужасе и позоре инспекторских смотров» («Ночная смена»), мы без труда узнаем черты жалкого Мухамеда Байгузина, подвергнутого «эзекуции» за кражу голенищ и тридцати семи копеек («Дознание»); любимец роты, запевала, лентяй Замошников («Прапорщик армейский») повторится в старом солдате дядьке Веденяпине, «запевале и общем увеселителе» («Поход»).

В великолепно изученной Куприным среде киевского «дна» писатель так же знает «все обо всем», как и в среде армейской. Он знает и то, какие типы лжесвидетелей существуют в Киеве и почему их нельзя путать с продажными «благородными» свидетелями. Как называют босяков в Петербурге, как их зовут в Москве, а как в Одессе и Харькове. Знает, что «марвихер» – это вор, занимающийся исключительно карманными кражами, и – даже! – что

«за последнее время между «марвихерами» вошли в моду короткие мохнатые бушлаты из светло-желтого драпа».

От природы имел Куприн необыкновенное зрение, тонкий слух и редкостную чуткость к запахам и ароматам.

Современники шутили, что в Куприне было что-то «от большого зверя». Мамин-Сибиряк говорил: «А вот Куприн. Почему он большой писатель? Да потому что он – живой. Живой он, в каждой мелочи живой. У него один маленький штришок – и готово: вот он весь тут, Иван Иванович... Кстати, он, знаете, имеет привычку настоящим образом, по-собачьи, обнюхивать людей. Многие, в особенности дамы, обижаются. Господь с ними, если Куприну это нужно». Ему вторила писательница Н. А. Тэффи: «Вы обратите внимание, как он всегда принимается к людям! Потянет носом, и конец – знает, что это за человек».

Читая Куприна, и впрямь ощущаешь его необычное, прямо-таки «звериное» обоняние. Так, в автобиографическом романе «Юнкера» юный выпускник кадетского корпуса Александров слышит, как по-разному пахнут «сильные, полумужские тела» кадетов на физическом осмотре: «Они пахнули по-разному: то сургучом, то мышатиной, то пороховой гарью, то увядающим нарциссом». В рассказе «В цирке» борец Арбузов чувствует, как в цирковых коридорах пахнет «конюшней, газом, тырсой, которой посыпают арену, и обыкновенный запах зрительных зал – смешанный запах новых лайковых перчаток и пудры». Куприн слышит запах тела девушки, «тот радостный, пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которыми они пахнут в ясные, но мокрые весенние вечера». Аромат белых акаций таков, что «их сладкий приторный запах чувствуется на губах и во рту» (рассказ «Белая акация»).

Примечательно, что в произведениях, передающих живой опыт молодого Куприна, его интерес направлен не на исключительные события, переданные к тому же «бывалым человеком» (таковы почти все его рассказы мелодраматического характера), а на событие, многократно повторяющееся, на подробности быта, обстановку, на воссоздание среды во всех ее незаметных мелочах, на воспроизведение величественной и медлительной «реки жизни».

Военные и «цивильные» этюды Куприна сродни «натуральному» очерку XIX века, но насколько же с тех пор выросла сила художественной изобразительности! Писатель не ограничивает свою задачу пусть меткими, но незамысловатыми «зарисовками с натуры». Нет, в отличие от популярных газетных очеркистов-современников (А. В. Амфитеатрова, В. М. Дорошевича, И. Ф. Буквы-Васильевского) он художественно осмысляет действительность, выносит ей приговор логикой самих образов. «Моментальные» фотографии не только объединяются в цельную художественную панораму, они преобразуются в неповторимую картину купринского видения мира. И когда в 1896 году, поступив на службу на крупнейший сталелитейный и рельсопрокатный завод Донецкого бассейна – Юзовский, Куприн пишет цикл очерков о положении рабочих, одновременно с ними уже складываются контуры первого крупного произведения – повести «Молох».

3

Куприн чутко уловил и отразил в повести первые раскаты нарастающего общедемократического подъема 90-х годов. Пожалуй, впервые в русской литературе в «Молохе» крупным планом показан протестующий рабочий класс. Стремительно и жестоко развивавшийся промышленный капитализм получил в произведении столь резкое изображение, что редактор народнического «Русского богатства», где печаталась повесть, Н. К. Михайловский потребовал переделки главы о «бунте».

Помимо соображений цензурного характера, здесь, бесспорно, проявилось несогласие убежденного народника с писателем-реалистом. Для центрального героя повести инженера

Боброва, которому симпатизирует Куприн, рабочий выглядит «терпеливым русским мужиком», отдаваемым в жертву капиталистическому идолу. Организованное выступление пролетариата для него такой же гром среди ясного неба, как и для промышленного воротилы Квашнина, номинального директора завода Шелковникова и фактического руководителя – бельгийца Андреа. Нам неизвестно, к сожалению, как была изображена забастовка в первой редакции. Под давлением Михайловского писатель был вынужден пойти на уступки: «... о бунте ни слова. Он будет только чувствоваться».

Зато выпукло и ярко показана в повести обслуживающая капитализм интеллигенция – все эти зиненки, свежевские, шелковниковы. И конечно, сам «Молох» – уродливый, как гигантская пиявка, сладострастный Квашнин. В воспаленном воображении Боброва рыжий миллионщик выглядит уже не человеком, а каким-то неведомым существом, требующим теплой человеческой крови.

Однако Квашнин не просто фантом или гадкое физическое существо, «вечно предшествуемое своим животом». Куприн не боится показать гротескно безобразного толстосума и в ином, неожиданном свете – на пикнике, в решающий для Боброва момент неравного «поединка» с Квашниным за хорошенькую Нину Зиненко. Так победно звучит музыка, которую открывает Квашнин в паре с Ниной: «Василий Терентьевич выждал такт и вдруг, повернувшись к своей даме движением, исполненным тяжелой, но своеобразной величественной красоты, так самоуверенно и ловко сделал первое рас, что все сразу признали в нем бывшего отличного танцора». Писатель избегает однолинейного заострения, не нарушая при этом общей оценки.

Символика, отождествляющая древнего жестокого языческого идола и с могущественным Квашниным, и с заводом, пожирающим человеческие жизни, продолжает расширяться, распространяясь как бы концентрическими кругами. В глазах чуждого фальши и несправедливости одиночки-правдоискателя Боброва уже вся буржуазная цивилизация – «прогресс, машинный труд, успех культуры» и т. д. – уподобляется тому же моавитянскому богу солнца, огня и войны – Молоху.

Но при этом протест у Боброва и обладающий неистощимым запасом полесских легенд охотник Трофим Щербатый. В этом рассказе воплощена одна из центральных тем литературы XX века: естественное стремление современного человека быть ближе к природе, ее живительным сокам и полная невозможность в условиях своекорыстного мира осуществления такой идиллии.

В прозе Куприна второй половины 90-х годов «Молох» выделяется как страстное прямое обвинение капитализму. Повесть была этапом не только в идейном развитии писателя, но и его художественной эволюции. Это была уже во многом настоящая «купринская» проза с ее, по словам Бунина, «метким и без излишества щедрым языком».

Так начинается стремительный творческий расцвет Куприна, создавшего на стыке двух веков едва ли не все самые значительные свои произведения. Талант Куприна обретает уверенность и силу. Вслед за «Молохом» появляются произведения, выдвинувшие писателя в первые ряды русской литературы, – «Прапорщик армейский».

Глава вторая В Петербург, в Петербург!

1

Александра Аркадьевна Давыдова, издательница популярного литературного журнала «Мир божий», с утра чувствовала вялость во всем теле и ломоту в затылке. Она понуждала себя заняться делом и не могла, а мысли не приносили облегчения.

Раздражали непрерывные уколы цензуры, огорчала бедность журнального портфеля, пассивность именитых писателей, произведения которых могли привлечь подписчиков. Волевая, настойчивая, Давыдова долгие годы уверенно управляла журналом, случалось, чуть не силой выбивала новые произведения и никогда не потакала писательской лени. Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки! Дайте хоть пятьдесят рублей авансу». – «Хоть умрите, милый, – отвечала она, – не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ...»

Молоденькая горничная Феня прервала ее воспоминания:

– Барыня, вас спрашивают...

– Кто?

– Писатели... Но не наши, не столичные...

Хотя Александра Аркадьевна объясняла себе собственное состояние причинами внешними, дело было в другом. После смерти старшей дочери Лиды, которую она страстно любила, у нее обострилась болезнь сердца.

– Скажи Мусе, чтобы приняла их...

Двадцатилетней дочери Давыдовой Марии, курсистке-бестужевке, все чаще приходилось брать на себя роль хозяйки.

...В гостиной с плюшевыми шторами, мягкой мебелью и непременным Бёклиным смущенно стоял приведенный Буниным Куприн. В синем костюме в серую полоску, мешковато сидевшем на его широкой в плечах, коренастой фигуре, низком крахмальном воротничке, каких уже давно не носили в Петербурге, и большом желтом галстуке с крупными ярко-голубыми незабудками, он сам остро ощущал себя неуклюжим и простоватым провинциалом.

Когда появилась молодая брюнетка с лицом красивой цыганки, но одетая с той подчеркнутой простотой, которая говорит о безукоризненном вкусе, Куприн невольно отступил назад, за спину щеголеватого, ловкого Бунина. Тот не растерялся и начал легко, в привычном для себя юмористическом тоне:

– Здравствуйте, глубокоуважаемая! На днях прибыл в столицу и спешу засвидетельствовать Александре Аркадьевне и вам свое нижайшее почтение...

Он преувеличенно низко поклонился, затем, отступив на шаг, поклонился еще раз.

Бунин предупредил Куприна, что довольно коротко знаком с Давыдовыми, но тот не ожидал поворота в разговоре, который последовал.

– Разрешите представить вам жениха, – торжественно-серьезным тоном продолжал Бунин, – моего друга Александра Ивановича Куприна. Обратите благосклонное внимание – талантливый беллетрист, недурен собой... Александр Иванович, повернись к свету! Тридцать один год, холост. Прощу любить и жаловать!»

Куприн глядел на Марию Давыдову, глупо улыбаясь.

– Так вот, почтеннейшая, – балагурил Бунин. – Сядем, посидим, друг на дружку поглядим...

И как деревенский сват, выхваляя жениха, начал рассказывать разные забавные истории с участием Куприна.

– Ну как же? – напирал Бунин. – У вас товар, у нас купец, женишок наш молодец...

И, поддерживая эту веселую игру, Мария ответила ему в тон:

– Нам ничего... Да мы что... Как маменька прикажут, их воля...

Куприн молчал: ему становилось все более неловко, и бунинская затея его не веселила. Молодая хозяйка быстро заметила это и незаметно, с привычным тактом светской девушки перевела разговор в иную плоскость. Она вспомнила Крым, начала расспрашивать Куприна об общих знакомых, в числе которых оказался Сергей Яковлевич Елпатьевский.

Куприн тотчас оживился, исчезла связанность движений, другим стало выражение лица. Он начал имитировать Елпатьевского, его манеру, жестикулируя левой рукой и заикаясь, говорить с пациентами по телефону, не забывая подчеркнуть свое знакомство с Чеховым. Придвинув к себе стоявшую на столе небольшую лампу, Куприн забормотал, словно в телефонный аппарат:

– Говорит доктор Е... е... елп... п... патьевский, здравствуйте, Петр Иванович! Сегодня я заеду к вам попозже... Надо сначала навестить Антона Павловича, последние дни я им недоволен... Раньше четырех часов меня не ж... ж... ждите...

– Здорово, Александр Иванович, у тебя выходит! Очень здорово! – одобрил Бунин. Начались рассказы о Чехове, о том, как осаждают его поклонники. Потом Бунин вспомнил анекдот о плодовитом беллетристе Боборыкине. Как-то при встрече с ним Чехов пожаловался, что пишет теперь мало, долго работает над своими вещами и часто бывает ими недоволен. «Вот странно, – удивился Боборыкин, – а я всегда пишу много, скоро и хорошо...»

– Антон Павлович – необыкновенно скромный человек, – с увлечением сказал Куприн. – Каждый раз, когда ему в глаза говорят, что он большой писатель, восхищаются его произведениями, он болезненно конфузится и не умеет сразу прекратить это славословие. От публичных выступлений и оваций всегда старается уклониться и не выносит, когда вокруг его имени создается газетная шумиха...

Заговорив о Чехове, Куприн окончательно обрел смелость, а вместе с ней и дар живой речи.

– Как-то утром пришел я к нему, – продолжал он, – и застал у Чехова издателя одного бульварного листка, который просил Антона Павловича принять сотрудника его газеты. «Чего вам стоит, дорогой Антон Павлович, сказать ему всего несколько слов – сообщить краткое содержание своей новой пьесы», – убеждал Чехова издатель. «Никаких интервью я никому не даю», – с несвойственной ему резкостью отвечал Чехов. «Вы, конечно, знаете, Александр Иванович, – после ухода издателя сказал Антон Павлович, – как в наших газетах пишутся «Беседы с писателями»...» – «Сейчас продемонстрирую, как это делается, – ответил я ему: – «Знаменитый писатель радушно принял нас, сидя на шелковом канapé в своем роскошном кабинете стиля Луи Каторз Пятнадцатый. Он подробно говорил с нами о своей новой пьесе. «В одном из главных действующих лиц, – сказал он нам, – вы легко узнаете известного общественного деятеля Титькина. Героиня пьесы Аглая Петровна, – фамилии ее я вам не назову, вы догадаетесь, о ком идет речь, если я скажу вам, что она красивая, богатая женщина, щедрая меценатка – покровительница литературы и изящных искусств». – «Эту роль вы, наверное, поручите любимице публики, нашей несравненной артистке Кусиной-Пусивой?» – спросили мы. «Конечно», – подтвердил нашу догадку знаменитый писатель. Когда мы прощались, он тепло жал нам руку...» – «Общественный деятель Титькин и несравненная Кусина-Пусина – это удачно», – смеялся над моей пародией Антон Павлович...

– Да, ловко, – заметил Бунин. – Впрочем, неудивительно, что ты хорошо знаешь этот литературный жанр. Тебе ведь в провинциальных газетках часто приходилось в нем практиковаться, – не удержался приятель от небольшой колкости. – Однако гости сидят, сидят, да и не уходят, – сказал он, вставая.

Прощаясь, Мария Давыдовна передала Куприну от имени матери приглашение бывать у них, когда Александра Аркадьевна поправится. И предложила обязательно зайти в редакцию журнала «Мир божий», к редактору и критику Ангелу Ивановичу Богдановичу:

– Он ждет вас...

– А как же насчет сватовства? – вспомнил Бунин. Куприн круто повернулся и направился к двери.

– Идем! – бросил он.

Когда они выходили из подъезда, стоявший там великолепный швейцар Давыдовых с глубоким презрением посмотрел на старенькое пальто Куприна.

Стояла обычная гнилая петербургская осень. Холодный город закрылся облаками, которые цеплялись за крыши и трубы, ложась на улицах мыльной сыростью. От тумана отсырело все – кожанка извозчиков, плащи городских, даже лица прохожих казались влажно-серыми. Подняв воротник своего пальто, Куприн сухо кивнул Бунину и побрел в дешевые номера за Николаевским вокзалом. Злость точила его.

«Наивный провинциал приехал завоевывать Петербург! Как это ты мечтал?

В моем лице даровитый, широкий провинциальный юг победит анемичный, бестемпераментный, сухой столичный север! Это неизбежный закон борьбы двух характеров! Исход ее можно всегда предугадать! О, можно привести сколько угодно имен. Министры, писатели, художники, адвокаты. Берегись, дряблый, холодный, бледный, скучный Петербург!..»

– Берегись, – усмехнулся горько Куприн, стирая с лица водяную пыль, словно снимая пелену с глаз.

Грязные тротуары, серое, ослизлое небо, и на этом фоне грубые дворники со своими метлами, запуганные извозчики, женщины в уродливых калошах, с мокрыми подолами юбок, желчные, сердитые люди с вечным флюсом, кашлем и человеконенавистничеством... Петербург!

«Зачем я согласился пойти с этим дурацким визитом к Давыдовым? – корил себя Куприн. – Сама издательница не сочла нужным со мной познакомиться, а дочка, эта столичная барышня, видимо, слишком много думает о себе... Очень она мне нужна... Пускай они с Буниным найдут кого-нибудь другого, кто бы позволил им над собой потешаться и разыгрывать свои комедии. А еще приглашала бывать... Покорнейше благодарю! Ноги моей там не будет! Но к Богдановичу я, конечно, на днях зайду...»

2

Редакция журнала «Мир божий» занимала несколько комнат в той же большой квартире Давыдовой. В ближайший вторник, приемный день Богдановича, Куприн появился в его кабинете.

За столом сидел человек, выглядевший гораздо старше своих сорока лет: исхудалое бледное лицо, прямой пробор мягких волос, светлая, заостренная книзу борода. Сухой белой рукой он быстро чертил на полях наборной рукописи корректурные знаки.

Куприн назвал себя, и Богданович живо поднялся, ответив решительно, отрывистым тоном:

– Очень, очень рад! Прочитал ваш рассказ «В цирке». Понравился! Будем готовить для январской книжки...

Куприн знал о тяжелом прошлом Богдановича, суровых бедствиях его студенческой жизни в Киевском университете, где он вступил в партию народовольцев, об ужасах военного суда 80-х годов, крепости и ссылке, а затем о тяжелой, изматывающей душу работе в провинциальной прессе.

Богданович пригласил в кабинет постоянных сотрудников журнала – критиков В. П. Кранихфельда и М. П. Неведомского, историка Е. В. Тарле и познакомил с ними Куприна.

– А не привезли ли вы чего-нибудь новенького? – поинтересовался он. – Мы надеемся на ваше регулярное сотрудничество и потому решили установить вам гонорар сто пятьдесят рублей за лист, а не сто, как это было с вашим первым рассказом...

Приятная новость несколько омрачалась тем, что Куприн невольно вспомнил, кому он обязан своим дебютом в «Мире божьем». В мае 1897 года, по обыкновению без гроша в кармане, он гостил у одесских знакомых Карышевых, которые познакомили его с Буниным. Тот сразу же стал убеждать его написать что-нибудь для «Мира божьего». Куприн не верил в успех, жалостливо говорил: «Да меня не примут!» – «Я хорошо знаком с Давыдовой, ручаюсь, что примут». – «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» – «Вы знаете, например, солдат, напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах, томится, скучает, вспоминая деревню...» – «Но я же не знаю деревни!» – «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе...» Так он написал рассказ «Ночная смена», который затем приняли в «Мир божий»...

– Я мечтал бы постоянно печататься у вас, – смущенно сказал Богдановичу Куприн. – Но пока что, кроме нескольких сюжетов, нет ничего.

– Значит, рассказы все-таки есть, только в голове? – вмешался Кранихфельд, с большими залысинами и длинным бритым лицом.

– Я провел эту осень в Зарайском уезде – обмерил там около шестисот десятин крестьянской земли с помощью теодолита... – начал рассказывать Куприн. – Всего около ста урочищ с самыми удивительными названиями, от которых веет татарщиной и даже половецкой древностью...

Он не заметил, как в комнату вошла полная блеклая дама – редактор журнала Давыдова.

– И вот вам сюжет, – продолжал Куприн: – Студент и землемер ночуют в сторожке лесника, где вся семья больна малярией... Впечатление, как будто эти люди одержимы духами, в которых сами с ужасом верят. Баба поет: «И все люди спят, и все звери спят...» И от этого напева веет древним ужасом пещерных людей перед таинственной и грозной природой. Среди ночи лесника вызывают стуком в окно на пожар в лесную дачу. Студент, чуткий и слабонервный человек, никак не может отделаться от мучительного и суеверного страха за лесника, который один среди этой ночи идет теперь в тумане по лесу...

– Настроение передано превосходно. – Александра Аркадьевна подошла к Куприну и подала ему рыхлую, в перстнях руку. – Давно хотела познакомиться с вами и очень сожалею, что не могла принять вас в воскресенье... А теперь прошу вместе с сотрудниками журнала остаться у меня отобедать...

Приглашение застигло Куприна врасплох. Он растерялся и от застенчивости не сумел отказаться.

Поднимаясь на второй этаж вслед за Богдановичем, Куприн снова ругал себя: «Отчего я так тушуюсь перед откормленными мордатými петербургскими швейцарами, перед секретарями в судах, перед бонтонными литературными дамами?.. Ведь есть же во мне нечто врожденное здоровое, что позволяет видеть насквозь и кружковых ораторов, и старых волосатых румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, и внушительных и елейных соборных протопопов, и жандармских полковников, и радикальных женщин-вра-

чей, твердящих впопыхах куски из прокламаций, но с душой холодной, жесткой и плоской, как мраморная доска, и особенно всех этих благополучных представителей «света», который я ненавидел и буду ненавидеть...»

Дочь Давыдовой, встретившая их в уютной столовой с большим буфетом черного дерева, изображающим кабанью охоту, показалась ему еще краше, чем при знакомстве. «Зачем она так хороша? – подумал Куприн. – Была бы попроще, из обычной семьи, право, решился бы и всерьез начал ухаживать за ней. А то...»

Его раздражало у Давыдовых все: безукоризненно накрахмаленные салфетки и скатерть, тяжелое столовое серебро, переливчато мерцающий хрусталь, дорогие вина, серая глянцевиная икра в вазочке, маринады, балыки и даже бойкая тетушка Марии – Вера Дмитриевна Бочечкарева, руководившая прислугой. Двум горничным помогала подавать на стол хрупкая девушка, почти девочка – Лиза Гейнрих, младшая сестра покойной жены Мамина-Сибиряка Марии Морицовой.

Равнодушно скользнув взглядом по ее точеному личику, по белой наколке (Лиза, несколько лет прожившая в семье Давыдовых, работала теперь в Георгиевской общине сестер милосердия и лишь изредка навещала Александру Аркадьевну), Куприн хмуро сказал себе: «Сейчас заведут умные разговоры, затрещит молодая хозяйка, а там и опять начнутся подковырки...»

– Надолго к нам в Питер? – поинтересовалась Александра Аркадьевна. – Верно, нет. Ведь вы, молодые, не любите сидеть на месте.

– Увы! – Куприн непритворно вздохнул. – Кажется, надолго и всерьез. Меня пригласили работать в редакции «Журнала для всех»...

– Виктор Сергеевич? Миролубов? – оживилась Давыдова. – Да ведь он же мой крестник. Вы не знали?

Куприн пожал сильными плечами.

– Я помню его еще студентом Петербургской консерватории, когда мой покойный муж там директорствовал. Он тогда носил фамилию Миров. Это был прекрасный оперный бас, мощный и густой. И вот представьте: когда его карьера бурно развивалась и ему уже предложили перейти из Московской императорской оперы в Мариинку, у Мирова открылся процесс легких! Пришлось оставить сцену. Но что делать дальше? Я знала, что некий отставной генерал продает право на издание дешевого ежемесячного журнала для народа. Посоветовала Миролубову приобрести журнал, оказала материальное содействие... И вот смотрите! Журнал процветает, читается широко...

– Еще бы! – подала голос Мария. – Одно имя Горького сколько привлекает подписчиков!..

Куприн быстро и зорко посмотрел на нее.

«А ведь совсем не задавала и не ломака!

Отчего я так несправедлив к ней... Скромна, очаровательна, умна...» – подумал он, холодея при мысли, что, кажется, влюблен.

– Горький – это человек полнокровной жизни, драчун и страстный жизнелюбивый мечтатель, – твердо сказал Куприн. – Ярчайший самородок. Сколько в нем смелости, свежести! И какое знание жизни, полученное не за чужой счет, а на собственной шкуре...

– Александр Иванович! – обратился к нему Кранихфельд. – Я слежу за вами уже давно и все больше удивляюсь тому, как знаете жизнь вы... Ваши произведения необыкновенно разнообразны. «Молох» – большой завод, «Олеся» – полесские крестьяне, «Alléz!» – цирк, «В недрах земли» – шахтеры, «На переломе» – кадетский корпус. А сколько написано об армии! «Ночная смена», «Дознание», «Прапорщик армейский»...

«Ну, Саша, настал черед показать им, кто ты такой», – сказал себе Куприн.

– Вы знаете, Владимир Павлович, – с нарочитой скромностью начал он, – хлебнул я в жизни действительно немало разного. Но как писатель и сотой доли не исчерпал еще того, что повидал. Моя жизнь? Извольте. Сперва кадетский корпус, Александровское юнкерское училище, провинциальное офицерство. Однообразно. А вот после отставки чем только я не занимался! Был землемером. В Полесье выступал предсказателем... Артистом в городе Сумы – изображал больше лакеев и рабов. А потом с балаклавскими рыбаками связался, славные были ребята! Кирпичи на козе таскал, арбузы в Киеве грузил. Был я псаломщиком, махорку сажал, в Москве продавал замечательное изобретение... – Он, смеясь узкими глазами, покосился на Александру Аркадьевну и решительно отрубил: – «Пудерклозет инженера Тимаховича». Преподавал в училище для слепых... А когда меня оттуда выгнали, пошел на рельсовый завод...

– Прекрасно! Bravo! – Мария захлопала в ладоши. – Вот чего не хватает нашим петербургским писателям. Они познают жизнь только из окошка своей дачи на Стрельне.

– Муся! – Александра Аркадьевна долгим осуждающим взглядом остановила порыв дочери. – Не кажется ли тебе, что ты ведешь себя слишком экстравагантно?

«Муся... Куся... Фуся... Зачем она называет ее так? – подумал Куприн. – Ведь это все какие-то кошачьи или собачьи клички, которые режут ухо! Куда лучше наше русское: Мария, Маруся, Маша...» Но прежнее раздражение прошло.

Когда Куприн прощался, Александра Аркадьевна благосклонно сказала ему:

– Я больна и приемов у нас пока не бывает. Но если вам не будет скучно провести вечер в нашем семейном кругу, заходите к нам запросто.

С того дня он зачастил к Давыдовым.

3

Одним из первых петербургских визитов Куприна было посещение журнала «Русское богатство», где царствовал Михайловский.

Публицист и критик, один из вождей и теоретиков русского народничества, Николай Константинович Михайловский был, что называется, законодателем мод у радикальной и либеральной интеллигенции. Человек крайне серьезный, он даже слегка страдал от сознания непогрешимости собственного авторитета, требуя от художественной литературы прежде всего полезности, служения обществу. Слово Михайловского, его печатный отзыв звучали приговором. Одной рецензии, подписанной им, было порой достаточно, чтобы уничтожить или вознести писателя. Правда, существовали литературные величины, которых не могло сломить даже его перо ригориста: Л. Толстой, Достоевский, Чехов...

Михайловский поддержал Куприна еще в 1894 году, при его первой публикации на страницах «Русского богатства» рассказа «Из отдаленного прошлого» (названного позднее «Дознание»), а затем сделал немало для того, чтобы в декабрьском номере журнала за 1896 год появилась повесть «Молох», которая привлекла к Куприну всероссийское внимание.

Шестидесятилетний книжник, живший только печатным словом, седовласый и седобородый, в золотом пенсне, сквозь которое смотрели умные, острые глаза, Михайловский встретил Куприна сдержанным упреком:

– Как же это вы, голубчик, свой новый рассказ отдали не нам, а в «Мир божий»? Нехорошо, право, нехорошо!

– Я полагал, – чистосердечно признался Куприн, несколько робея перед знаменитостью, – что тема цирка мелка и вас мало заинтересует... Зато следующий же рассказ обязательно передам в «Русское богатство».

Он заметил на столе груды корректур и поторопился сократить визит, но Михайловский предложил:

– Вы должны быть ближе нашей редакции... Оставайтесь-ка на наш традиционный четверг... Это не деловое совещание, а товарищеский обмен мнениями. Будет интересно, если и вы поделитесь с нами своими впечатлениями. Расскажите о провинциальной печати или еще о чем-то...

В большой комнате уже собрались сотрудники – П. Ф. Якубович-Мельшин, популярный поэт, революционер-народник, проведенный более десяти лет на каторге в Акатуе; бытописатель нищей, угнетенной деревни С. П. Подъячев; тихий, тщедушный В. В. Водовозов с непосильно могучей для него бородой; В. В. Муйжель – молодой человек унылого народнического вида, печатавший в журнале длинные повести о крестьянстве, и тридцатилетний учитель с Дона, автор очерков из казачьего быта Ф. Д. Крюков.

Когда Михайловский с Куприным вошли, патетически ораторствовал публицист Мякотин. Он рассказывал о какой-то студенческой вечеринке и острил над марксистски настроенной молодежью, которая увлекалась трудами профессора экономии М. И. Туган-Барановского, доказывавшего неизбежность капитализма в России.

– Представьте, – говорил Мякотин, – как стадо *баранов*, слушали *Баран-Тугановского*...

Михайловский благосклонно улыбнулся расхожей остроте и, покручивая вокруг пальца золотое пенсне, сел на почетное место. Мякотин заметил Куприна и обратился к нему:

– Вы народник или успели у себя в провинции заразиться марксизмом?

«Решил меня проэкзаменовать как новичка?» – Куприн молчал, глядя на Мякотина. Тот подошел к нему и сказал еще строже:

– У вас там тоже ведь завелись доморощенные марксисты.

– Ни к народникам, ни к марксистам не могу себя причислить, – ответил наконец Куприн. – В их разногласиях многое мне непонятно. А с марксистским учением я слишком поверхностно знаком, чтобы о нем судить.

– Это неважно, – небрежно заметил Мякотин. – Учиться надо только у Михайловского. В его статьях так ясно изложена и опровергнута марксистская теория, что каждый здравомыслящий человек не может не согласиться с ним. И как беллетрист вы должны следовать только советам Николая Константиновича. Чехов, к сожалению, этого не делает. Кстати, дома я руковожу кружком студентов, занимающихся вопросами народничества и марксизма. Приходите ко мне послушать. Это будет вам полезно. Непременно приходите... – И для убедительности Мякотин тыкал в грудь Куприну длинным пальцем.

«Ишь, какой строгий, – подумал Куприн. – Завел себе доктрину и молится ей. И еще других хочет втащить силком в свое учение. Да дай тебе волю, ты таких дров наломаешь! Всех нас под одну гребенку причешешь!...»

Но ответил уклончиво, чтобы отвязаться:

– За приглашение спасибо. Постараюсь зайти на днях...

...Своими петербургскими впечатлениями, огорчениями и радостями Куприн делился с новым другом – Марией Давыдовой.

– Может, многие и думают, что я способен, – горячо говорил он, – с чужого голоса повторять то, чего не знаю, но для этого нужна особая способность, которой у меня нет...

Он все чаще бывал в доме Давыдовых, хотя Александра Аркадьевна не придавала особого значения его визитам. Она не всегда выходила вечером в столовую, но за хозяйку оставалась тетушка Марии Вера Дмитриевна Бочечкарева, вдова артиста Малого театра М. А. Решимова, которая разливала чай. Поэтому отсутствие Александры Аркадьевны не нарушало общепринятых правил.

– Понимаю вас, Александр Иванович, – отвечала ему Мария. – Мне и самой не по душе узость этих людей... словно истина ими уже познана, и они озабочены только тем, чтобы ее познали остальные. Несогласных же они спокойно предают анафеме... – Она помолчала и добавила с улыбкой: – Кстати, Михаил Иванович Туган-Барановский – мой родственник, муж сестры Лиды...

В короткий срок все в доме незаметно привыкли к Куприну. Он стал своим человеком. Давыдовой Куприн все больше нравился: его непосредственность, жизнерадостность отвлекали ее от постоянных тяжелых дум о своей болезни и о смерти старшей дочери. Она охотно слушала купринские живописные рассказы о военной службе, о жизненных приключениях, о знакомых писателях.

А он был уже влюблен, влюблен в ее младшую дочь. В сочельник, накануне нового, 1902 года, улучив возможность побыть минутку с Марией наедине, Александр Иванович сказал:

– Вы, конечно, давно уже почувствовали, как я отношусь к вам... – Он замялся, его открытое, чистое и доброе лицо покраснело. – Но ведь я плебей, сирота, провел детские годы с матерью во Вдовьем доме, в Москве, на Кудринской площади... А вы...

– А я? – Мария улыбнулась доброжелательно и чуть грустно.

– Вы светская девушка, привыкшая к столичному обществу, дорожающая своим кругом, титулованными родственниками и петербургскими знаменитостями...

– Продолжайте, Александр Иванович! – поощрила его Мария.

– Я мечтал бы, чтобы вы связали со мной свою судьбу... Но кто я? Бывший офицер с ограниченным образованием... Беллетрист не без дарования, но до сих пор не написавший ничего выдающегося...

– Вы мне тоже не безразличны, – тихо сказала Мария. – Я верю в ваш талант, в ваше будущее... И откровенность за откровенность. Я очень люблю маму... – Она запнулась. – Александру Аркадьевну... Но ведь я даже не знаю, кто мои родители... Меня подкинули в младенчестве. А Александра Аркадьевна меня удочерила, окрестила и воспитала...

– Маша! – воскликнул Куприн, взял ее маленькую ручку в свою, грубую и сильную, и прижал к губам; затем не сразу, прикрыв веками глаза, тихо сказал: – Такой вы мне еще дорожке!..

Утром на другой день она сообщила матери, что стала невестой Куприна.

4

– Что ж это такое? Знакома с ним без году неделя, и вдруг невеста. – Александра Аркадьевна была изумлена и даже шокирована этой неожиданной новостью. – Ни узнать как следует человека не успела, ни спросить у матери совета... – Голос ее прервался. – Что же, раз советы мои тебе не нужны, делай как знаешь.

Она махнула рукой и заплакала.

В последнее время здоровье Александры Аркадьевны резко изменилось к худшему. Она почти не выходила из своей комнаты, целые дни проводила в постели и начала говорить о завещании и своей близкой смерти. Вскоре она пригласила к себе дочь и Куприна.

– Я говорила вам, Александр Иванович, – обратилась к нему Александра Аркадьевна, – что не следует торопиться со свадьбой, прежде чем вы и Муся хорошо не узнаете друг друга. Но теперь я чувствую, что мне осталось недолго жить. После моей смерти ей будет тяжело оставаться с больным братом на руках и теми обязанностями, какие я возлагаю на нее моим завещанием...

– К чему думать и говорить о таких тяжелых вещах, Александра Аркадьевна, – ответил Куприн. – Каждый из нас не может быть уверен, что он увидит завтрашний день. Бывают

роковые случайности, когда человек идет по улице в самом радужном настроении, а с крыши пятиэтажного дома на его голову падает кирпич. Или он идет, осторожно оглядываясь, и неожиданно из-за угла выносится пьяный лихач и под копытами лошади превращает его в бесформенную массу. Можно ли задумываться над такими случайностями и мучить ими себя?..

Куприн говорил так естественно, непринужденно, что Давыдова заметно успокоилась.

– Правда, сердечные припадки у меня давно и только за последние два года участились, – сказала она. – Но все-таки каждый раз после приступа я думаю о своей близкой смерти.

– По-моему, Александра Аркадьевна, – мягко продолжал Куприн, – со свадьбой не следует спешить только потому, что сейчас у вас нервное, подавленное настроение, которое скоро пройдет. Но я убежден, что надолго откладывать эту церемонию бесцельно. Ведь сколько бы времени мы с Машей ни были женихом и невестой, хотя бы и три года, как это водится у честных немецких бюргеров – за это время они копят деньги на серебряный кофейный сервиз, – мы все равно друг друга хорошо не узнали бы. В большинстве случаев взаимное разочарование наступает редко до брака и гораздо чаще после него...

– Пожалуй, вы правы, – помолчав, сказала Давыдова. Она улыбнулась. – Тетя Вера ведь только на днях заказала приданое. Но все равно венчайтесь до великого поста...

Свадьба была назначена на февраль. Куприн, безмерно счастливый, сообщил о готовящейся женитьбе своей матери Любови Алексеевне, по-прежнему жившей в Москве, во Вдовьем доме. Она ответила, что тоже счастлива, что он наконец женится и покончит со своей бродячей, скитальческой жизнью, что у него будет своя семья, свое гнездо. В конверте было вложено отдельное письмо Марии.

Л. А. Куприна – М. К. Давыдовой.

«Перед свадьбой я пришлю Саше и Вам мое родительское благословение – икону святого Александра Невского, по имени которого назван Саша. Когда я вышла замуж, у меня родились две девочки. Но моему мужу и мне хотелось иметь сына. И вот тут нас стало преследовать несчастье. Один за другим рождались мальчики и вскоре умирали. Только один дожил до двух лет, и тоже умер. Когда я почувствовала, что вновь стану матерью, мне советовали обратиться к одному старцу, слышшему своим благочестием и мудростью.

Старец помолился со мной и затем спросил, когда я разрешусь от бремени. Я ответила – в августе. «Тогда ты назовешь сына Александром. Приготовь хорошую дубовую досточку, и, когда родится младенец, пускай художник изобразит на ней точно по мерке новорожденного образ святого Александра Невского. Потом ты освятишь образ и повесишь над изголовьем ребенка. И святой Александр Невский сохранит его тебе».

Этот образ будет моим родительским благословением. И когда господь даст, что и вы будете ждать младенца и ребенок родится мужского пола, то вы должны поступить так же, как поступила я».

Как бывало всегда, старшее поколение отличалось большей религиозностью, чем молодые. Не только Любовь Алексеевна, но и Александра Аркадьевна Давыдова, женщина просвещенная, хотела, чтобы новобрачные соблюли все полагающиеся обряды. Она сказала Куприну о своем желании, чтобы их венчал непременно модный в то время в Петербурге священник Григорий Петров.

Время до свадьбы проходило стремительно, наполненное утомительной суетой. Днем Куприн трудился в «Журнале для всех», а вечерами ни о чем серьезном поговорить было нельзя – приходили родственники Давыдовых, друзья семьи, сотрудники «Мира божьего».

– Какое глупое положение быть женихом, – ворчал Куприн. – Все ваши знакомые приходят и с головы до ног оглядывают меня критическим взглядом. Женщины дают советы, мужчины острят. И все время чувствуешь себя так неловко, как это бывает во сне, когда видишь, что пришел в гости, а у тебя костюм не в порядке. Ваши подруги смеются, кокетничают и при мне спрашивают: «Ну как ты себя чувствуешь, нравится тебе быть невестой?» Я кажусь себе дураком и нарочно веду себя так, чтобы поддержать это мнение, а сам думаю: «Нет, Саша совсем не дурак». Вот как-нибудь я вам это докажу. А сейчас мне не хочется...

И добавил, тихо обняв Марию за плечи:

– Слава богу, что теперь недолго осталось тянуть эту дурацкую петрушку.

Как-то вечером к Давыдовым заехал Михайловский – справиться о здоровье Александры Аркадьевны.

– Я на минутку, – объяснил он в передней, не снимая пальто, вышедшей встретить его Марии. – Только хочу узнать, как чувствует себя ваша мама... Страшно занят – выходит книга журнала. Был в типографии и тороплюсь домой просмотреть последние листы верстки.

Она все-таки убедила его пройти в столовую и выпить стакан чаю.

– Вы что же не зовете меня в посаженные отцы? – шутливо-строгим тоном обратился он к Куприну, блеснув золотым пенсне. – Слышал я, что скоро уже свадьба, а ни вы, ни Муся мне ни слова. Вы, кажется, забыли, Александр Иванович, что я вам крестный отец. Забывать этого не следует...

Прощаясь, Михайловский сказал:

– На днях получил письмо от Короленко. Он спрашивает, правда ли, что Муся выходит замуж за Куприна. Теперь, пишет он, «Русское богатство» его, конечно, потеряет. Я ему еще не ответил на это, – и Михайловский вопросительно посмотрел на Куприна.

– Женидьба на Марии Карловне к моему сотрудничеству в «Русском богатстве» не имеет ни малейшего отношения, – ответил Куприн.

– Увидим, – улыбнулся Михайловский.

Куприн незаметно для себя уже участвовал в работе «Мира божьего» (хотя по-прежнему главное свое внимание уделял «Журналу для всех»). И здесь он сразу столкнулся с властным характером Александры Аркадьевны, которая и в тяжелой болезни не желала поступаться своими правилами и литературными вкусами.

Однажды, зайдя к ней в комнату, он застал там Богдановича.

– Вот мы с Александрой Аркадьевной говорили о том, какая скучная беллетристика во всех толстых журналах, – обратился Ангел Иванович к Куприну. – Нет ничего выдающегося, останавливающего внимание. И, главное, везде одни и те же имена...

– Если хотите, – предложил Куприн, – я могу попросить Антона Павловича отдать в «Мир божий» пьесу «Вишневый сад»... Он ее заканчивает... Я не обращаюсь к нему с этой просьбой от имени «Журнала для всех» – его небольшой объем не позволяет поместить пьесу целиком. Делить же ее, конечно, нельзя. Да и гонорар Чехову для такого небольшого журнала, как миролюбовский, был бы слишком тяжел.

– Гонорар? – переспросила Александра Аркадьевна. – А какой же гонорар?

– Тысяча рублей за лист.

– Что? Тысяча за лист? Да это же неслыханно! – воскликнула Александра Аркадьевна. – И это Чехову, значение которого почему-то стали так раздувать последние два-три года. Чуть ли не произвели в классики. Да знаете ли вы, Александр Иванович, что «Вестник Европы» – самый богатый из журналов – всегда платил Глебу Ивановичу Успенскому, не чета вашему Чехову, сто пятьдесят рублей за лист. Глеб Иванович был очень скромный человек и, конечно, сам никогда не поднял бы разговора о размере гонорара. Поэтому Михайловский обратился к Стасюлевичу с просьбой ввиду тяжелого материального положения Успенского

повысить его гонорар. И Стасюлевич отказал. Вот как обстоят дела с гонорарами в толстых журналах, – язвительно добавила она. – Что вы на это скажете?

– Возмутительная эксплуатация писательского труда! – произнес Куприн.

Александра Аркадьевна изменилась в лице.

– Не будем спорить о значении Чехова. О всех больших писателях существует различное мнение, – примирительно сказал Богданович. – И конечно, для нашего журнала было бы очень желательно иметь пьесу Чехова. Но нам это материально непосильно так же, как и Миролюбову. Весь вопрос, Александр Иванович, сводится только к этому...

Давыдова сослалась на то, что хочет отдохнуть, и сухо простилась с Куприным. Уходя, он ругал себя за несдержанность, за свою азиатскую вспыльчивость: Александра Аркадьевна уже не поднималась с постели...

3 февраля 1902 года настал день свадьбы.

В столовой собрались только те, кто должен был провожать Марию в церковь: жена Мамина-Сибиряка (бывшая Машина гувернантка) посаженная мать – Ольга Францевна, посаженный отец – Михайловский и четыре шафера. Куприну полагалось встретиться с невестой только в церкви, но он пренебрег условностями и тоже ожидал Марию в столовой.

При ее появлении Ольга Францевна спешно закрыла большую белую коробку.

– Что с вами, тетя Оля? – целуя ее, спросила Мария. – У вас слезы на глазах...

Ответил Куприн:

– Ольга Францевна не знала, что тетя Вера уже позаботилась о подвенечных цветах, и привезла еще одну коробку... Что ж, Маша, быть тебе два раза замужем. Такая примета. А в приметы я верю...

5

Куприн снял небольшую комнатку недалеко от квартиры Давидовой, чтобы Мария всегда была близко от своего родного дома. Хозяин, одинокий старик лет шестидесяти, днем столярничал в какой-то мастерской, а в свободное время работал на себя. Он был краснодеревщик, любил свое дело и дома ремонтировал старинную мелкую мебель, делал на заказ шкатулки, рамки, киоты. Проходить в комнату надо было через его помещение.

Старик приветливо встретил молодоженов и тотчас предложил поставить самоварчик.

– Небось притомились. Свадьба – дело нелегкое... Покушайте чайку, – добродушно говорил он.

– А правда, Машенька, – подхватил Куприн, – стыдно признаться, но я зверски голоден. А ты как?

Свадебный обед был омрачен нелепой ссорой: крайне сдержанный, всегда корректный Богданович совершенно напился и набросился с бранью на издательницу журнала «Юный читатель» Малкину, которая получала крупную материальную поддержку от Давыдовой. «Скоро прекратятся эти пособия! У меня этого не будет!» – кричал Богданович, имея в виду тяжелое состояние Давыдовой, которая лежала за две комнаты от столовой...

– Из-за этого скандала я за обедом есть не могла, – призналась Мария.

– Сейчас сбегая в магазин на углу и принесу что-нибудь поесть!

Куприн скоро вернулся с хлебом, сыром в красной шкурке, колбасой и бутылкой крымского вина. Но чая у них, конечно, не было, и пришлось брать на заварку у хозяина. Куприн взял гитару и запел:

Нет ни сахару, ни ча-аю,
Нет ни пива, ни вина,
Вот теперь я понимаю,

Что я прапора жена...

– Правда, Машенька, хороший романс? – еще более помолодев от улыбки, сказал он. – Тебе нравится? Жалко, я не догадался вставить его в мой старый рассказ «Кэт». Он был бы там как раз у места...

– Саша, я начинаю побаиваться твоих офицерских привычек, – полушутливо ответила Мария, отбирая бутылку. – Я ведь хочу видеть тебя первым писателем России... А твоя дружба с вином этому может помешать.

– Машенька! – Куприн с шутливым трагизмом воздел обе руки. – Это в честь такого-то дня да не выпить? Невозможно! Но обещаю, обещаю, – добавил он своей армейской скороговоркой, – что буду себя в своих дурных привычках сдерживать... Во имя двух самых прекрасных дам – тебя и литературы...

Утрами после чая Куприн садился читать и править рукописи для «Журнала для всех», а Мария уходила к Александре Аркадьевне и проводила там весь день. К шести часам, когда Куприн возвращался из редакции, они обедали у тещи, а после обеда приходили к себе в каморку, и вечер принадлежал уже только им.

Здесь, в квартирке столяра, Куприн делился с женой творческими замыслами, рассказывал о себе, о прошлых скитаниях и о том, что его близко затрагивало и волновало.

Как только Куприны возвращались, у них в комнате появлялась Белочка – маленькая собачка неизвестной породы, с гладкой белой шерстью и черными глазами. Она поднималась на задние лапки, и тыкалась мордочкой в колено Марии, и, тихонько повизгивая, просилась на руки.

– Приблудная она у меня, – объяснял хозяин. – Ишь ты, хитрюга, куда забралась. Ступай домой!

Но Белочка только повиливала хвостом и не сходила с колен.

– Люблю собак и умею с ними обращаться, – сказал Куприн, поглаживая Белочку. Он повернул к себе ее пушистую умную мордочку.

– Ты когда-нибудь обращала внимание, Машенька, как смеются собаки? Одни, словно благовоспитанные люди, только вежливо улыбаются, слегка растягивая губы. Но большие добродушные умные псы смеются откровенно – во весь рот, видны зубы, десны, влажный розовый язык...

Куприн еще раз погладил Белочку, та благодарно зевнула, подтверждая его слова своей собачьей улыбкой.

– Большие добрые собаки часто бывают лучше людей, – убежденно сказал он. – Как весело, умело и осторожно они играют с детьми! Собаки чувствуют, когда человек любит их и безбоязненно подходит к ним. И не было еще примера, чтобы я, если собака мне нравилась, с ней не подружился. За всю жизнь неудача постигла меня только с одной собакой. Хочешь, об этом редком случае я расскажу тебе?

Старик столяр унес Белочку. Мария уютнее устроилась на диванчике, служившем им и стульями и постелью.

– Это было в Киеве, – начал Куприн. – Я возвращался домой поздно вечером. На площадке лестницы лежала большая собака. Едва я открыл дверь, она быстро прошмыгнула в коридор, а потом и в мою комнату. Я зажег свечу и увидел, что это был огромный серый дог. Догов я вообще люблю меньше других собак. Они глупы, злы, непривязчивы. И вот не успел я как следует осмотреться, как дог вспрыгнул на мою кровать и улегся прямо на подушке. В комнате из мягкой мебели было только старое кресло с изодранной обивкой, из которой вылезало мочало. Я отодвинул его в угол и словами и жестами стал приглашать дога перейти с кровати на кресло. Но лишь только я приближался к собаке, она издавала злое утробное рычание. Глаза ее горели фосфорическим огнем. Ты знаешь, Машенька, мне

казалось, что в образе дога в мою комнату проник злой дух. Мне стало жутко. Я предлагал собаке остаток колбасы, хлеба, налил в тарелку воды – все было напрасно. Она не двигалась с места. Пришлось расстелить на полу мое единственное пальто – под голову подложить было нечего, – и так провести всю ночь. Я задолжал хозяйке, и она мою комнату не топила, накрыться мне было нечем, и к утру я страшно промерз. А утром, как только я открыл дверь, дог выбежал в коридор, оттуда на лестницу и скрылся. Больше я его не видел.

Куприн помолчал, пожал плечами.

– Это была единственная собака, которой я боялся и о которой вспоминаю неприязненно. Наверно, она сразу почуяла, что я ее испугался, и в этом-то заключалась причина моей неудачи. Собака никогда не бросится на человека, который ее не боится, и всегда кинется на труса, который будет перед ней заискивать. Я обязательно напишу что-нибудь о собаках, напишу с любовью, на какую только способен. О какой-нибудь из самых умных, о цирковом актере и акробате. Например, о пуделе. Как хорошо, Машенька: странствующие артисты и с ними их друг и кормилец, пудель. И какие-нибудь сытые господа, какие-нибудь перекормленные дачники, поглядев на представление добрых бродяг, предлагают продать им пуделя, а получив отказ, крадут его. Но пудель должен перехитрить их всех и вернуться к своим.

6

После венца Куприны никуда не уезжали и, по давнишнему обычаю, должны были сделать визиты всем родственникам семьи Давыдовых и старым друзьям, присутствовавшим на свадьбе. Следовало посетить и тех, от кого были получены поздравления. Составился длинный список знакомых, у которых предстояло побывать. Мария Карловна опасалась, что Куприн может не согласиться выполнить эту скучную обязанность. Но сверх ожидания он согласился, и очень охотно:

– Машенька, да это же великолепно! Знакомиться с новыми людьми, наблюдать новые отношения, догадываться, чем каждый из этих людей дышит, – ведь это уже страшно интересно. Непременно поедем, не откладывая, с визитами.

После нескольких скучных, но зато коротких визитов старым приятельницам Александры Аркадьевны Куприны отправились на обед к крупному чиновнику Государственной канцелярии Дмитрию Николаевичу Любимову. Его жена Людмила Ивановна, сестра Михаила Ивановича Туган-Барановского, была подругой детства Марии Карловны.

К семи часам в гостиной собрались все приглашенные к обеду: брат Людмилы Ивановны, напыщенный и самодовольный Николай Туган-Барановский, втайне завидовавший карьере своего зятя; сестра Елена Ивановна Нитте с мужем, очень богатым и глупым камер-юнкером; муж сестры Любимова, ярый монархист и курский предводитель дворянства граф Дорер. Ожидали только старика отца Людмилы Ивана Яковлевича Мирзу-Туган-Барановского. Дочь волновалась, не случилось ли с ним припадок астмы. Но вскоре Иван Яковлевич появился в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов.

Это был тучный серебряный старик, который в левой руке держал слуховой рожок, а в правой – палку с резиновым наконечником. У него было большое грубое красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, какое свойственно мужественным и простым людям, выдавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть.

– Интересный и умный старик, – шепнул Куприн жене.

– Он был в молодости гусаром, – тихо ответила Мария, – служил в Гродненском полку. Проиграл в карты два имения, слыл отчаянным кутилой и бретером и на своей жене женился увозом. Ее родители, литовские помещики, и слышать не хотели о браке дочери с лихим гусаром.

По заблестевшим глазам мужа Мария Карловна поняла, что Куприн во власти писательства.

– Необыкновенно живописная фигура! – любясь стариком, сказал он. – В нем совмещены те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах. Чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и почти святым...

Общий разговор за столом вначале не вязался, так как Куприн видел большинство собравшихся впервые. Заметив это, хозяин взял инициативу в свои руки и до конца обеда не упустил ее. У него была необыкновенная способность рассказывать: Дмитрий Николаевич брал в основу истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом, что слушатели надрывались от смеха.

Воспользовавшись сообщением Николая Ивановича Туган-Барановского о каком-то великосветском разводе, Любимов начал рассказывать, каких трудов стоило ему добиться развода Людмилы Ивановны с ее первым мужем.

– Накануне судебного разбирательства, – добродушным, но в то же время деловым тоном сообщал он, обращаясь главным образом к Куприну, – лжесвидетели – без них нельзя было обойтись – накинули каждый по несколько тысяч рублей на свой гонорар. А их было четверо. Они заявили, что слишком многим рискуют и что не приняты во внимание их затраты, когда они выслеживали бывшего мужа Милочки, кутившего с дамами в ресторанах. За время этого наблюдения им пришлось на десять тысяч выпить одного шампанского в различных ресторанах, и они предъявили мне такое количество счетов на вино, что его с успехом хватило бы напоить целый полк...

– Ну только не наш, Гродненский гусарский! – с одышкой сказал старик Мирза-Туган-Барановский, отставив слуховой рожок.

– Свидетели грозили, – продолжал Любимов, – что, если их требования не будут удовлетворены, они заявят о добродетельной и безукоризненной жизни мужа и о том, что их хотели подкупить и склонить на лжесвидетельство...

Затем он принялся острить над всеми присутствующими. Так как Александра Аркадьевна была тяжело больна, Марии приходилось часто бывать у нее. Любимов советовал Куприну с самого начала не пренебрегать своими юридическими правами и требовать через полицию вселения в квартиру Давыдовых мужа.

– После обеда, – заявил он, – покажу вам, Александр Иванович, Милочкин альбом. Как только мы узнали, что Александра Аркадьевна требует, чтобы ваша жена жила дома, я сразу в альбоме изобразил, как городовые ведут Марию Карловну по улице в квартиру мужа. К этому случаю будут и стихи, пока они еще зреют в голове поэта.

Не оставил Любимов в покое и Николая Туган-Барановского, который был крайне ущемлен тем, что семья утратила титул и герб. Именно о розысках в департаменте герольдии и начал расспрашивать Николая Дмитрий Николаевич, приняв крайне серьезный и заинтересованный вид. Неожиданно, перебивая Любимова, в разговор вмешался граф Дорер. Бестактный и глупый, он тоже решил поговорить на эту щекотливую тему.

– Скажите, Иван Яковлевич, – обратился он к старику Туган-Барановскому, – при каких обстоятельствах и в чье царствование была утеряна грамота, утверждавшая ваши права на титул, и не припомните ли вы, каков был герб?

– Я мало интересовался этим даже в молодые годы, – недовольно ответил старик, которому Дорер помешал заняться холодной телятиной.

– Но это же так просто, Коля, – не оставлял в покое Любимов своего шурина. – Стоит только со времени Иоанна Грозного проследить по мужской и женской линии всех потом-

ков царицы Марии Темрюковны и восстановить родство с ней князей Мирза-Туган-Барановских... Только и всего!

Разговор этот крайне раздражал Николая Туган-Барановского. Он делал вид, что не слушает Любимова, и усиленно ухаживал за Ольгой Николаевной Дорер.

Кофе подали в гостиную.

Любимов подвел Куприна к стоявшему посреди комнаты круглому столу, на котором лежали большие фолианты в массивных кожаных переплетах с серебряными углами и застежками.

– Это вам как писателю будет особенно интересно, – сказал он. – Здесь рукописи Толстого и Достоевского.

Фолианты эти перешли к Любимову от его покойного отца, профессора Московского университета Н. А. Любимова, друга Каткова.

– Это лабораторная работа гения, которую надо изучать, – сказал Куприн, листая рукопись «Кзаков». – А поверхностный взгляд улавливает только почерк.

– А теперь пусть Милочка покажет вам свой альбом, – предложил Любимов.

Этот альбом в темно-зеленом коленкоровом переплете с красной розой, вытесненной на верхней крышке, был у Людмилы Ивановны еще с гимназических времен. Тогда в нем писали «на память» ее подруги.

– Пропустим первые трогательные излияния прекрасных юных дев, – балагурил Любимов, – и перейдем к более интересным поэтическим сюжетам. Когда на пути нашей Милочки встретился таинственный незнакомец, он решил, оставаясь неизвестным, завоевать ее внимание своим поэтическим дарованием. В течение долгого времени он еженедельно посвящал ей цветы своей музыки. Вот посмотрите, Александр Иванович, первое письмо. На мой взгляд, оно главным образом касается Милиной мамы – Анны Станиславовны:

И вот волшебная минута –
На свет является дитя,
Моя божественная Лима,
Это она, это она...

Ввиду выдающегося интереса, который представляет это стихотворение, я решил его иллюстрировать. Как видите, после отрывка из письма следует рисунок: кровать с лежащей на ней под покрывалом фигурой...

Куприн, сузив глаза, склонился над альбомом. Любимов продолжал:

– На следующем листке опять стихотворение:

Ее Людмилой нарекли,
Но для меня осталась Лимой.

Сбоку нарисована люлька. А вот еще выдержка из письма:

Взирала радостно мамаша,
Как расцветала дочь ея.

И наконец, заключительные строки:

Великолепная нога,
Явленье страсти неземной.

Конечно, к сему имеется соответствующий рисунок ноги...

Куприн слушал Любимова, вглядывался в неуклюжие строки любовных виршей и все более проникался жалостью и состраданием к их автору: «Несчастный маленький человек, поставленный судьбой в самом низу общественной лестницы и безответно влюбленный в женщину, принадлежащую к верхам... Какая тема для произведения!...» Хозяин, не замечая его состояния, очевидно, усматривал во всем лишь юмористическую сторону. Благодушно улыбаясь, он рассказывал:

– Этот маньяк с неотступным упорством преследовал Милочку письмами. В них заключались не только стихотворные послания, но и прозаический текст с малограмотными объяснениями в любви. Подписывал он письма своими инициалами – П. П. Ж. Представьте себе, Александр Иванович, ему удалось несколько раз проникнуть в ее квартиру. Как мы впоследствии выяснили, он вошел для этого в сношения с полотерами. Многие письма его посвящены описанию обстановки всех комнат и, конечно, главным образом Милочкиной. Часто он следовал за ней во время прогулок или когда она посещала своих знакомых. Об этом он также немедленно осведомлял ее в письмах. Когда Милочка второй раз вышла замуж, поток писем временно прекратился. Но уже через несколько месяцев П. П. Ж. вернулся к своему прежнему занятию...

«Я вижу этого П. П. Ж., – думал Куприн, – вижу, как мучительно напрягает он все свои душевные силы, стараясь преодолеть малограмотность и отсутствие необходимых слов, чтобы выразить охватившее его большое чувство, и как стремится он уйти от своей, очевидно, убогой жизни в мечты о недостижимом счастье...»

– В прошлом году, – говорил между тем Любимов, – в первый день пасхи, рано утром горничная принесла Миле письмо и небольшой пакет. В нем оказалась коробочка, в которой на розовой вате лежал аляповатый браслет – толстая позолоченная дутая цепочка, и к ней подвешено было маленькое красное эмалевое яичко с выгравированными словами: «Христос воскрес, дорогая Лима. П. П. Ж.». Это выходило уже за рамки приличия. Коля страшно возмутился и потребовал принятия по отношению к П. П. Ж. самых крайних мер...

Любимов прервал свое повествование и предложил Куприну выкурить в кабинете по сигаре.

– Я не наскучил вам, Александр Иванович, этой нелепой историей? – спросил он, удобно устроившись в кресле и затянувшись крепким ароматным дымом.

– Напротив, Дмитрий Николаевич, я весь внимание, – живо отозвался Куприн, все более ясно представляя себе жалкий и самоотверженный характер этого П. П. Ж.

– Ну так вот, установить личность этого господина было для меня, конечно, легко. Он оказался мелким почтовым чиновником Петром Петровичем Жолтиковым. Жил он в начале старого Невского, в громадном доме барона Фридерикса, в котором сдавались дешевые комнаты и квартиры. В ближайшее воскресенье мы с Колей отправились к нему. По грязной черной лестнице поднялись на пятый этаж. Открыла нам хозяйка квартиры, неопрятная, растрепанная женщина, и указала комнату Жолтикова. Убогая обстановка, сам он невзрачный, небольшого роста, страшно растерявшийся, испуганно смотревший на нас, – все это произвело на меня тяжелое впечатление. Я положил на стол коробочку с браслетом и вежливо попросил его впредь не только не посылать моей жене подарков, но и перестать писать ей письма. Тут Коля перебил меня, очень резко сказав, что мы примем меры... Я не дал ему договорить – убитый вид Жолтикова меня обезоруживал...

Любимов замолчал, отвернулся от собеседника и сказал тише, приглушеннее:

– Он ведь так же, как я, любит Милочку, и я не могу сердиться на него. Я счастливый соперник, и мне его жаль. Ведь если бы он был крупным чиновником, а я бедным служащим, может быть, Милочка и полюбила бы его, а не меня... Кто знает!

«Э, да в тебе чиновник не заглушил еще человека, – невольно подумал Куприн. – Но со временем кто знает...»

И тоже тихо, но твердо ответил:

– Да, судьба не бескорыстна. Она всегда покровительствует успеху...

Домой с Марией Карловной они возвращались поздно за полночь, пешком, по тихим малолюдным улицам, примыкающим к Таврическому саду. Мысли Куприна все еще были заняты этой трогательной и грустной историей.

Если осторожно соскоблить иронический налет, нанесенный нашим милым рассказчиком, – говорил он жене, – обнаружится безнадежная, трогательная и самоотверженная любовь, на которую способны очень немногие. Женщины не всегда в силах оценить такое святое чувство...

Он помолчал, прислушиваясь к чему-то своему, потаенному, потом тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли:

– Ты знаешь, Машенька, сейчас все новые впечатления у меня не отстоялись. Я свернул их, как ленты «кодака», и уложил в своей памяти. Там они могут пролежать долго, прежде чем я найду для них подходящее место и разверну их. Когда проходит время, глубже чувствуешь и оцениваешь прошедшее – людей, встречи, события. Но мне кажется, Жолтиков будет моим героем. Я подниму его образ, его бедную жизнь, которая, возможно, оборвется – оборвется трагически. Я даже хотел бы облагородить тот дутый аляповатый браслет, который он прислал Людмиле Ивановне. Пусть это будет гранатовый браслет, подаренный мной тебе? Ты не рассердишься, Машенька, нет?

Куприн нашел в муфте маленькую горячую ручку жены и смущенно добавил:

– В юности, еще юнкером, нечто подобное испытал я сам... Я долго хранил у себя случайно оброненный при выходе из театра носовой платок незнакомой мне женщины...

7

Рано утром 24 февраля 1902 года Александра Аркадьевна Давыдова скончалась от паралича сердца.

Хоронил издательницу «Мира божьего» весь литературный Петербург. На многолюдных поминках к Куприну подошел с незнакомцем Богданович, у которого глаза были красны и припухли от слез.

– Познакомьтесь, – сказал он и представил их друг другу: – Александр Иванович Куприн – Федор Дмитриевич Батюшков...

Перед Куприным стоял высокий худощавый сорокапятилетний мужчина, со строгим сухим длинным лицом в небольшой каштановой бороде и добрым взглядом спокойных серых глаз. Куприн уже знал о Батюшкове, что это профессор, историк западной литературы, потомок старинного знатного рода, внучатый племянник известного поэта пушкинской поры. Он знал также, что именно Батюшкову члены редакции после кончины Давыдовой предложили быть руководителем журнала «Мир божий».

Заговорили о покойной, о ее заслугах перед отечественной словесностью. Куприн сразу отметил про себя, что ни в словах Батюшкова, ни даже в его интонации не было той почти обязательной лицемерной, преувеличенной печали, которую почитали долгом выказать многие из присутствующих.

– Что ж, надо вести корабль дальше, – сказал он Батюшкову. – Капитанский мостик пуст, и вам, очевидно, придется брать за штурвал...

– Я с большими колебаниями принял предложение редакции, – ответил тот. – Но кому-то приходится быть администратором. Вы знаете, Александр Иванович, в искусстве люди заурядные часто совершенно искренне сетуют на то, что организационная работа отвлекает

их от творчества, не дает возможности писать. Они хотят так объяснить себе собственное бесплодие. Могу сказать без всякого самоуничтожения, что для творчества я не создан. И потому обязан посильными средствами работать там, где принесу наибольшую пользу...

– Но у вас есть то, что так редко встретишь в литературе, – живо возразил Куприн. – Культура, огромные знания!

– Пусть так, – согласился Батюшков, – но мы, книжники, живем жизнью вторичной. Что с того, что я могу сейчас процитировать латинскую мудрость, кельтский эпос или французских парнасцев? Это все чужой, заемный опыт. У нас нет чувства первородства, которое отличает художника истинного, нет того божественного огня, который горит в вашей душе... Я ведь давно слежу за вами, Александр Иванович, за вашим добрым, стихийным даром...

Все это было сказано просто, естественно и поразило Куприна именно искренностью, отсутствием рисовки. Он еще не знал того, что Батюшков станет его самым душевным, самым близким другом на протяжении всей почти двадцатилетней жизни в России.

Отступление второе

Взгляд на русскую литературу XX века

Новый век: короткая пора, стремительно пройденный отрезок, всего-то навсего менее трех десятилетий – от 90-х годов прошлого столетия и до Октября. Но какая красочная ярмарка, какое соцветие талантов! Сколько имен промелькнуло за этот исторический отрезок! И какие имена! Гордостью нашей национальной культуры стали М. Горький, А. Блок, И. Бунин, А. Куприн, молодой Маяковский, И. Репин, В. Серов, М. Нестеров, С. Рахманинов, А. Скрябин, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, актеры Московского Художественного театра... И вместе с тем как непроста, как неоднозначна каждая эта фигура, каждое явление. А ведь были еще и те, кто создавал «фон», сопровождал главных «действующих лиц» на исторической сцене – от скромных «бытовиков», рядовых «знаниевцев» и до «новаторов» авангарда, до крикливых молодых людей, безоговорочно требовавших отказаться от «старья» во имя неведомых им самим целей.

В нашем XX веке продолжали творчество классики русского реализма Толстой и Чехов; их заветы стремились претворить многочисленные талантливые писатели – В. Г. Короленко, В. Вересаев, И. Бунин, А. Куприн, Л. Андреев. Однако самый принцип «старого» реализма подвергся энергичной критике из разных литературных лагерей, требовавших более активного вторжения в жизнь и воздействия на нее.

Эту ревизию, собственно, начал сам Толстой, в последние годы своей жизни, после духовного перелома, призывавший к резкому усилению «учительного», проповеднического начала в литературе. «Новые» писатели пошли в этом направлении значительно дальше.

Если Чехов еще считал, что «суд» (то есть художник) обязан поставить вопросы, а отвечать должны «присяжные» (письмо к А. С. Суворину от 27.X.1888), то для писателя XX века, это казалось уже недостаточным. «Как быть с рабочим и мужиком, – вопрошал Блок, – который, вот сейчас, сию минуту, неотложно спрашивает, как быть...» Родоначальник proletарской литературы Горький прямо заявил, что «...роскошное зеркало русской литературы почему-то не отразила вспышек народного гнева – ясных признаков его стремления к свободе», и обвинил литературу XIX века в том, что «она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных, только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле». В письме к Чехову молодой Горький утверждал: «Настало время нужды в героическом», в творчестве Горького уже зарождались элементы новой литературы, широко развернувшейся в условиях советской действительности.

Спор с традиционным, классическим реализмом велся, как уже говорилось, на разных полюсах литературы. В начале 90-х годов, с появлением поэтических сборников К. Бальмонта «В безбрежности» и «Тишина», с выходом изданных В. Брюсовым трех сборников «Русские символисты», а также стихов Д. Мережковского, Н. Минского, З. Гиппиус, в литературе оформилось новое направление – символизм, отдельные черты которого были предвосхищены уже в поэзии В. Соловьева, Н. Фофанова, Мирры Лохвицкой. И они стремились к обновлению искусства.

Восстав против «удушающего мертвенного позитивизма», символисты провозгласили три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. Новации символизма, понятно, были противоположны горьковским призывам обновления. Символисты открыто порывали с демократическими и гражданственно-социальными заветами русской литературы, звали к крайнему индивидуализму и подмене этического начала самоцельной эстетикой:

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне тебе я даю три завета.

Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее – область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.

Третий прими: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно...

Вообще говоря, символизм представлял собой известную реакцию на натуралистическое изображение жизни. Поэтому он появлялся нередко там, где натурализм обнаруживал свою несостоятельность. Но, нападая на плоское описательство, символисты предлагали взамен другую крайность: пренебрегая реальностью, они устремлялись «вглубь», к метафизической сущности видимого мира, окружающая действительность казалась им ничтожной и недостойной внимания поэта. Это был всего лишь «покров», за которым пряталась вожаемая «тайна» – единственный достойный, по мнению художника-символиста, объект. Поэтому сторонники и вожди этого направления (впервые появившегося ко Франции) так легко поддавались религиозным и мистическим теориям.

Тем не менее их напряженные поиски «сущности», подобно поискам алхимиками «философского камня», не пропали даром. Некоторые из них, наиболее талантливые, сумели значительно расширить сферу поэзии, сильно продвинуть вперед поэтическую технику, вскрыть новые возможности, заложенные в слове. И все же именно эти талантливые художники сами и признали в конце концов бесплодность концепции символизма и начали создавать на развалинах этого направления новую литературу, отвечающую потребностям революционной действительности (А. Блок, В. Брюсов).

В пестром крошечном исканий, заблуждений, надежд в русской литературе школы, направления, кружки, как писал А. Толстой, «выскачили на ней в грибном изобилии»: «Еще до войны появились футуристы – красные мухоморы, посыпанные мышьяком. Их задача была героична: разворочать загнившее болото русского быта... Лезли чахоточные опенки, выродки упадничества, последыши с их волшебным принцем Игорем Северяниным. Выскачили плесенью, какая бывает на старых пнях, поэты, принципиально не желающие говорить на человеческом языке».

Ко всему подлинно талантливому в эту пору в изобилии липнут «спутники», готовые даже во внешности, в манере одеваться, вести себя, говорить (и уж потом – писать) подражать своему флагману. Так, вокруг «Большого Максима» – Максима Горького, властителя дум передовой России, сгустилось не просто созвездие, но целое облако сателлитов, из которого полыхали уже не молнии и громы, а по временам сочился мусорный ветер.¹ Так, большого национального поэта А. Блока, страстного романтика и мечтателя, пажи по символистскому цеху стремились увести за собой, в затянутую тьмой мистическую долину, где они сами мерцали светящимися гнилушками. Никогда прежде не соприкасались столь тесно подлинность, боль и игра, мистификация, расчетливая ставка на успех, пусть через скандал, эпатаж, бытовое безобразие. «И улица развращает, – сердился Бунин, – нервирует хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай!.. Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении. И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание».

В этих сложных условиях, в противоборстве враждующих начал, полярных методов и направлений, в смешении исканий и мистификации, игры, продолжало плодотворно развиваться творчество писателей, традиционно именуемых «критическими реалистами». Принято полагать, что в изменившейся обстановке они лишь следовали сложившимся канонам «старой» литературы, лишь развивали то, что было завещано гигантами девятнадцатого века – Толстым, Достоевским, Тургеневым, Чеховым.

Да, словно мощные горные узлы, от которых расходятся многочисленные отроги, большие и малые, выделены на карте отечественной литературы эти великие имена. И самобытность реалистов XX века вырастает не только в преодолении авторитетов, но в продолжении, обогащении уже сложившихся традиций. В литературном процессе эта художественная эстафета проявляется то в органическом усвоении толстовских принципов, художественных и философско-этических – в «Господине из Сан-Франциско» И. Бунина, то в грустных чеховских интонациях «Большого шлема» и «Жили-были» Л. Андреева, то в возрождении нервного сказового стиля вослед Достоевскому в «Мелком бесе» Ф. Сологуба. Самобытность русской реалистической литературы XX века заключается не только в значительности содержания, но и в художественных исканиях, совершенстве техники, стилевом разнообразии: реализм стремился выйти к новым для себя рубежам, хотя многое так и осталось в стадии эксперимента. Здесь и черты экспрессионизма с его рационалистической символикой, угловатостью рисунка, нарочитым схематизмом («Царь-Голод», «Жизнь Человека», «Красный смех» Л. Андреева); и орнаментальная, узорчатая проза с искусной стилизацией («Пруд» А. Ремизова, «Уездное» Е. Замятина); и искания в области прозы ритмизированной («Петербург» Андрея Белого); и особенный, «сгущенный» реализм с его плотностью «парчового» языка (проза Бунина).

Но все-таки главным, решающим в русской литературе XX века, понятно, оставалось то, насколько глубоко и верно осмысляла она жизненно важные проблемы, насколько точным был ее суд над действительностью, насколько высок нравственный идеал.

Вершиной и тут оставалось творчество Л. Толстого, последние произведения которого являют нам пример последовательного углубления в самую сущность человеческого бытия. Принципиально новаторским явилась художественная деятельность основоположника социалистического реализма М. Горького, принесшего уже в начале века, по словам В. И. Ленина, «рабочему движению России – да и не одной России... громадную пользу». Однако формирование нового метода, поиски М. Горьким человека-борца, активного героя,

¹ Как вспоминал Л. Серебров-Тихонов, «почти в каждом большом городе водились в ту пору двойники Горького». Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 220.

непосредственное отражение в литературе идеологии рабочего класса – все это вовсе не означало, будто реализм в привычных формах исчерпал, изжил себя. Он продолжал оставаться живым, плодотворным началом, объединяя вокруг себя разновеликие, но всегда яркие таланты, среди которых Куприн – одно из первых, заглавных имен.

Литературные недруги дали ему глумливое прозвище «зрячий крот». Другие, более ретивые, объявили его даже одно время «всероссийской бездарностью». В критике, особенно критике символистской, его третировали расхожим определением «бытовик». Куприн сердился: «Старый быт. Быт, проклятый критиками, создавшими презрительное, унижительное словечко для иных писателей – «бытовик». Но почему же в этом быте, в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в однообразной привычности слов, движений, поговорок, песен, обрядов – почему в них жила и живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое бытие в обыденной жизни?»

Сердитость его была справедливой. Таланта хватило бы у Куприна на всех его литературных обидчиков. Сочность, выпуклость изображений, точный и тонкий рисунок, простой, ясный язык, юмор и добродушие – все сближало Куприна с лучшей, классической литературной традицией. Он верный и блестящий ученик Льва Толстого. И вместе с тем урок сжато, преподанный Чеховым, не пропал для него бесследно.

С чуткостью первоклассного писателя улавливал Куприн общественную атмосферу русского общества, глубоко и верно отображал неповторимые картины быта самых разных слоев населения, создавал цельную и правдивую картину России – провинциальной, уездной, местечковой, военной, рабочей, столичной, артистической, буржуазной.

А между тем в сгущавшейся предгрозовой духоте все более неотвратимо надвигались на страну великие социальные потрясения, ковалась партия нового типа, пролетарские окраины все чаще заявляли о себе, сотрясая обе столицы забастовками и демонстрациями.

В обстановке надвигавшейся, а затем и разразившейся революции 1905–1907 годов создавалось едва ли не самое значительное произведение Куприна – «Поединок».

Глава третья «Поединок»

1

После кончины Давыдовой Куприны заняли в ее большой квартире скромную комнату тетушки Марии – Бочечкаревой, которая уехала в Москву. Однажды вечером, после обычного трудового дня, занятого хлопотами в «Мире божьем», где он заведовал отделом прозы, Куприн сказал жене:

– Слушай меня внимательно, Машенька. Думай только о том, что я говорю, и, пожалуйста, смотри только на меня, а не по сторонам...

Он крепко потер несколько раз руками голову.

– Скажу тебе то, чего никому еще не говорил... Даже Бунину... Я задумал большую вещь – роман. Главное действующее лицо – это я сам. Но писать я буду не от первого лица, такая форма стесняет и часто бывает скучна. Я должен освободиться от груза впечатлений, накопленного годами военной службы. Я назову этот роман «Поединок», потому что это будет поединок мой – поединок с царской армией. Она калечит душу, подавляет лучшие порывы в человеке, его ум и волю, унижает достоинство... Я ненавижу годы моего детства и юности, годы кадетского корпуса, юнкерского училища и службы в полку. Обо всем, что я испытал и увидел, я должен написать. И своим романом я вызову на поединок царскую армию. Наверное, единственный ответ, какого удостоится мой вызов, будет запрещение «Поединка». А все-таки я напишу его!..

Куприн молча начал ходить по комнате. Молчала и Мария, боясь нарушить ход его мысли.

– Как тебе кажется, Машенька? – наконец спросил он. – Это будет крепко закручено... Ты не боишься за меня?

– Я верю в тебя, – тихо, но твердо ответила Мария.

– А теперь, – Куприн сел за стол и стал листать рукопись, – я прочту тебе небольшую главку. Может быть, она войдет в «Поединок»...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.